SPY MUSEUM

[фактоид]

Serge ЮРЬЕНЕН // Сергей IOURIENEN

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

ФАКтоид — это еще и просто «мелкий факт». Истине соответствующий, но несущий малозначительную частицу информации. Как например: самая распространенная в мире фобия — это ophidiophobia, страх змей. Или: автор предлагаемого вашему вниманию Фактоида четверть века работал в международном эфире. Или: на протяжении многих лет в подчинении автора (моем, господа) находился тайный советский агент, считавшийся одним из самых ценных приобретений на радио «Свобода»…

- Сергей Юрьенен
  - I
  - II
    - Олег Калугин. Прощай, Лубянка!
    - Юрий Крохин
    - Быть женой советского агента
    - Василий Крупский
    - Тенгиз Гудава
  - III
  - ФОТОАЛЬБОМ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

MADE IN
MAXIMA-LIBRARY

Сергей Юрьенен
Музей шпионажа: фактоид

Я нажал кнопку.
Дверь открылась.
Меня буквально втащили внутрь.

Oleg Tumanov [1]

У шпиона жизнь чистая, веселая.

Александр Солженицын.
Один день Ивана Денисовича

Sur ma remington portative J'ai ecrit ton nom Laetitia

Serge Gainsbourg[2]

Presseausweis

Nr. 31095

Vor- und Zuname
Serge Iourienen

Straße
Bülowstraße 2o, Apt. 6

Wohnort
8ooo München 8o

Geburtsdatum | Staatsangehörigkeit
21.o1.1948 | staatenlos

Geburtsort
Frankfurt/Oder

Serge Iouriener
Unterschrift des Inhabers

Ausstellungsdatum
28.o5.1984

Verbands-Nummer
RFFU - BAY o95

Deutsche Journalisten-Union
(dju) in der IG Druck und Papier
Bundesvorstand
Friedrichstraße 15 [illegible]

Verbandsstempel und Unterschrift des Verbandes

1982	1983	1984
1985	1986	1987

Deutsche Journalisten-Union

Ausgestellt auf Grund einer von den Presseverbänden mit dem Bundesminister des Innern, den Innenministern (Senatoren) der Länder und der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn getroffenen Vereinbarung.

I
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Генерал КГБ оказался маленьким.

С первого взгляда показался даже лилипутом по причине своей непосредственной близости с британцем, заместителем нашего директора-американца, который еще выше, но, к счастью для нашего гостя, блистал отсутствием. Возможно, не случайно: поскольку и британцу, судя по застывшей улыбке учтивости, выпавшая роль не особо нравилась, и вряд ли по этическим соображениям, а скорее, потому что джентльмен наш не успел к ней подготовиться, все оказалось как-то в последнюю минуту, внезапно и врасплох — как, впрочем, сам распад Советского Союза, случившийся не только буквально на днях, но и негаданно-нежданно: *out of the blue*.

В своей неготовности конферансье поневоле был не одинок. Примерно так же чувствовали себя все, кто уже собрался на человека-легенду, весть о появлении которого на «Свободе» разнесли секретарши, под конец рабочего дня смятенно забегавшие по коридорам и кабинетам: «Кей-Джи-Би дженерэл! Генерал КГБ!..»

Теперь все молчали, подавляя даже нервный кашель. Всем было не по себе. И становилось тем, кто прибывал из коридора. Все при этом выглядели несколько ошарашено: будто при всей своей информированности — а в нашей библиотеке целый пролет железных стеллажей про это — на самом деле до конца не верили в реальность того, откуда визитёр возник. Были, впрочем, и разочарованные; донесся даже шепот с армянским акцентом, и это, конечно, был Гарик Ионесян: «Не Джеймс Бонд… карапэт…»

Но на других лицах, особенно на женских, из национальных, более непосредственных редакций, читался откровенный ужас. Потому что появился генерал, если развить вышеупомянутую английскую идиому, отнюдь не «из голубизны» (ну разве что лермонтовской — если вспомнить про мундиры и подвластный им народ). Не из лазури, нет. Даже не из ультрамарина более глубокого залегания. А просто разверзлась самая непроницаемая бездна, Марианская впадина противостоящего мира, и на всеобщее обозрение явился глубоководный гад, зубастый уникум, какой-нибудь, выражаясь ихтиологически, большерот, монструозность которого — и я не говорю о внешнем облике — была сформирована давлением, просто непредставимым в нашем свободном мире.

Неужели перед нами достоверный факт реальности? вопрошали выразительные глаза «националок».

И мир таков на самом деле?

И только генерал — единственный в зале — чувствовал себя вполне в своей тарелке. Был он, конечно, в штатском — хотя пиджак сидел, как китель. Черные туфли поблескивали. Какого размера, интересно? При этом росте даже дама считалась бы петит, но генерал был маскулинен, особенно, лицо, оно было у него малоподвижно, уверенно и повелительно — на прежний еще, на советский манер. Непререкаемо, моноло-гично. Жестоко-властно.

Настороженность толпы, безотчетно и строго соблюдающей сакральный круг пустоты, объяснялась не только аббревиатурой, которую представлял здесь самозваный гость. Мы, исчисляющие свою аудиторию миллионами (а согласно руководству — так и десятками миллионов), сейчас должны были сами оказаться в роли слушателей. И генерал нами уже владел, хотя еще не произнес ни слова. Он ощущал себя выше нас всех — по сравнению с ним, почти что Гулливеров. Смотрел на нас свысока. Так, что непонятно было даже, что мешает этому метру-с-кепкой вот сейчас притопнуть и совершить переворот, объявив себя начальником нас всех. Как самозваный разрушитель того, на чем стоял Союз, он, разумеется, был избалован вниманием Москвы и мира. Однако тайна этой самоуверенности была в другом. Генерал нас знал интимно. Совсем еще недавно он ведал нами, то есть, не исключительно, а в том числе и нами, когда в качестве шефа внешней контрразведки СССР давал своему невидимому фронту добро на подрывную против нас работу, включавшую такие нашумевшие действия, как уколы отравленными зонтиками, как взрыв ко Дню рождения Красной армии, и прочие конкретные дела по сведению нас к нулю. Можно сказать, наш контр-начальник. Генерал аннигиляции.

Любопытно, что новоприбывшие, сразу обеззвучиваясь, пытались протиснуться за спины коллег, которые не то, чтобы жались к стенам, но сильно к ним тяготели, как бывало, когда объявляли белый танец. Никто не хотел быть выбранным — даже взглядом. Никто не хотел сближаться — даже на лишний шаг вперед. Сзади напирали, спереди оказывали сопротивление, а по центру была пустота, которая замыкалась генералом и чуть поодаль отстоявшим британцем, который не только улыбался, но и заранее сутулился. Молчание, которое царило, британец, впрочем, не нарушал, хотя, по законам гостеприимства, должен был бы разрядить, поскольку в этой сгущенной, как бы ждущей своего момента немоте ничего доброго не было. Напротив:

содержалось и нарастало нечто зловещее, отчего в голове возник и не исчезал отдаленный звон предвосхищения… Чего? Откровений? Скандала? Скверного анекдота?

Ненавистников аббревиатуры в этом зале, названном в честь американского борца с коммунизмом, набилось уже столько, что лично я не исключал ничего, тем более, что никаких специальных мер безопасности не было, как и мер селективных. Любой сотрудник, включая складских рабочих, мог привести своего визитёра. Генерал, таким образом, оказывался в открытом доступе, и я поймал себя на том, что заталкиваю обратно в подсознание всплывающую картинку, телевизионный кадр, на котором Руби только что отстрелялся по Освальду — субтильному человечку, с мученической гримасой зажимающему пулю. Но на то и был он генерал, чтобы не бояться пуль, реальных или ментальных, осыпавших его градом. Держался под этим огнем он хладнокровно, хотя перед лицом количественно нарастающего противостояния порой развлекал себя как бы внезапно пришедшим в голову вопросом, который адресовался британцу, все с той же улыбкой наклонявшемуся еще ниже, чтобы переуслышать.

На языке «основного противника» генерал говорил бегло, но с заокеанским акцентом, которым несколько бравировал, как и всем своим извращенным — разумеется, — но всеочевид-ным американизмом. И пусть этот «изм» читался сейчас, как вульгаризм и наглость, я знал, что предметом генерал владеет лучше любого из нас: будучи «по профессии русскими», как сказал какой-то циник, специально мы Америку не изучали, тем более — в академиях ГБ.

Именно в «Америке» — иллюстрированной отдушине холодной войны — увидел генерала я впервые. Журналы втайне от своей деспотичной матери давал мне лучший школьный друг. В престижной той квартире — сталинский дом на Ленинском проспекте — вся «Америка» была политически корректно вынесена в сортир, где занимала над унитазом туго забитые деревянные полки, подпертые кронштейнами и восходящие к потолку. Было это в прошлом веке, году в 64-м; и процесс листание запретной «Америки» сопровождался конфликтом ароматов, биполярных и взаимоисключающих, заокеанского пряного полиграфического благовония, исходящего, казалось, непосредственно от фотообразов, — с тем, чем пахла советская уборная в эпоху, когда подтирались советскими же газетами (их предварительно прочитав, нарезав и размяв): сероводородом? аммиаком? Скатолом, которого на уроках химии мы не проходили? Возможно, просто хлоркой. Тогда еще,

отбрасываемый назад многоразличными табу и комплексами, я не шел до конца в расщеплении малоприятных предметов на молекулы; однако остается фактом то, что мое первое визуальное знакомство с Америкой совершалось в атмосфере противоборства запахов.

Парень на фото улыбался, будучи представлен мне «Америкой», как стажер Колумбийского университета из Советского Союза. Совсем еще молодой стажер; помню и не скрою, что был охвачен завистью: «Везет же некоторым…» При этом я не исключил, что может повезти и мне — «если поступлю в Москву». Будучи намного моложе молодого соотечественника, я настолько не представлял себе свою советскую действительность, что заокеанскую стажировку счёл чистой игрой фортуны. То, что за океаном стажер не бил баклуши, а пребывал в качестве сотрудника КГБ, читатель «Америки», каким я был тогда, не знал, а если бы и знал, то мало что бы понял. Меня настолько берегли от непосильных знаний, что в шестнадцать мальчишеских я не отождествлял аббревиатуру, которая изредка попадалась на глаза в газетах, с эвфемизмами, долетавшими от взрослых — как смехотворными («органы», буга-га!), так и затемненными до полной невнятности (как «оттуда», как «куда следует», «кому надо» и пр.) И уж совсем нельзя было представить себе, что парнишка на фото в «Америке» носит в ранце генеральские погоны, которые заслужит от самого Андропова, поработав на всех «невидимых» фронтах — как на внешнем, где, среди прочего, курировал нашу корпорацию, так и внутреннем, где боролся с инакомыслами.

Совершенно очевидно было, что государственных и ведомственных секретов познал он при этом столько, что сам стал олицетворением той самой знаменитой геополитической непознаваемости: «a riddle wrapped in a mystery inside an enigma» — загадки, завернутой в секрет и спрятанной в тайну, как, в том соперничая с Тютчевым, проникновенно выразился Уинстон Черчилль.

Но дополнительно, и сверх того — еще и ходячей картотекой агентуры.

Надо думать, что обратившись против собственной альма матер, генерал поверг в непреходящий ужас разоблачения бывших своих коллег — в особенности, конечно, тайных.

Глядя на него, я пытался себе представить внутреннее состояние этих марионеток, бессильно повисших на пальцах кукловода, решившего, что в эту игру он наигрался. Озноб, подавляемый мной при этом, был чувством драматизма текущего момента. Разделяемого и коллегами — если судить по

носогубному тику, периодически выдававшего во всем прочем совершенно спокойного редактора программы «Союз нерушимый: факты, мнения, суждения», или по напускному благодушию на пожилом лице ветерана Нигерийского, который в несколько заходов набрал в кантине за день свою обычную дозу пива «Хофброй» и являл полную готовность к примирению с вчерашним врагом.

Русская служба выбрала ближайшую от входа правую стену, перед которой (отражаясь в окнах) стояла беспорядочной толпой. Никакой монолитности в Службе, разумеется, не было; однако при всей пестроте политического спектра (минус, по внутреннему статусу, нацизм и коммунизм) имели место в ней и фракции, и группы интересов. Все эти объединения, видимые, конечно, только посвященному, генерал разнес, рассеял и развеял. Атомизировал. Несмотря на то, что многих объединял предательский бадиленгвидж, язык тела (скрещенные, к примеру, руки на груди), каждый тут пребывал отдельно. Поврозь и наособицу, сказал бы Солженицын (который с нашей корпорацией «Свобода» дела принципиально не имел: да, проживал в Америке, но от почетного гражданства, предложенного Белым домом, отказался и давал интервью исключительно Би-би-си). И это одиночное стояние отражало тот несомненный факт существования, что у каждого из собравшихся на генерала было свое, ни с кем не разделимое, интимно-сокровенное отношение к ГБ.

Непримиримость? Безусловно. Причем, не только персональная, — историческая, можно сказать. Генетическая. Родовая. Но был и страх, конечно. Страх обнаружить жгучесть этого чувства, исключающего толерантно-просвещенный диалог. Так это было на самом деле, или нет, но, во всяком случае, это то, что мнилось мне, наблюдающему за наблюдателями, которые под напором своих эмоций прилагали усилия к «нечитаемо сти».

Напротив нас, отодвинутые пространством паркета к противоположной стене, окна которой, благодаря наружной мозглости, усиливали яркость момента до торжественности, стояли сотрудники национальных служб — менее лицемерных, чем наша. Там чувства были написаны на лицах — и невольно взгляд мой устремлялся поверх голов. Подобные чувства и лица я где-то уже видел. Не на фото- ли документах, запечатлевших, как восставший Будапешт линчует своих гэбистов?

Чаша сия миновала Москву, когда 22 августа — месяца три тому назад — на наших мюнхенских телеэкранах подъемный кран там оторвал от пьедестала 11-тонного Феликса, железным тросом обмотанного подмышку и за горло.

Гуманизировался, что ли, мир?

И если даже на Лубянке все прошло цивилизованно, то уж на «Свободе» никаких эксцессов не предвиделось тем паче. Поэтому супергэбист стоял непринужденно, в полный рост, иногда обводя нас равнодушным взглядом, который скользил, ни на ком не задерживаясь и не выражая ровным счетом ничего — даже своего всеведения. Надмирным таким. Потусторонним — если иметь в виду Добро и Зло.

Перед входом тем временем нарастала группа запоздавших, которая своей массой все дальше и дальше вытесняла в круг локального шефа безопасности. Фрост, таким образом, оказался напротив генерала — на прямой дуэльной линии шагов в одиннадцать. Невозмутимое лицо Фроста, который, конечно, волновался, было, скорее, симпатичным. Как и подчеркнутая скромность одежды. Как и, разумеется, фамилия. Вообще говоря, похож он был на немецкого актера, который прославился в роли капитана подводной лодки, после чего был допущен в голливудские фильмы второй категории. Однако престиж нашей корпорации к исходу холодной войны, чреватой победой, был столь высок, что Фрост вполне мог оказаться и родственником американского поэта. В данный момент, во всяком случае, в нем самом было нечто романтично-поэтичное: темные кудри, матовая бледность и лихорадочный блеск синих глаз, устремленных на визави.

Всем нам хотелось думать, что в его лице московской аббревиатуре противостоит вашингтонская, все козни пресекающая. Но были сомнения. Слишком уж человечно выглядел наш шеф секьюрити. Чувствителен. Тонкокож. С другой стороны, не обнаруживал пороков, за которые мог быть уволен из рядов. Но был ли он Си-Ай-Эй? Ничего определенного сказать нельзя, но выглядел он, скорей, как частный спец по безопасности, профессиональный пинкертон, нанятый корпорацией, которая боялась Ленгли больше, чем Лубянки. Потому что никакой КГБ со всей его хитромудростью не может сравниться по части разрушительной эффективности с прекраснодушным американским идиотом. За связи с ЦРУ вполне могли прикрыть всю лавочку, как уже реально нависало после общеизвестных американских скандалов середины 70-х, когда наши ветераны, месяцами не получавшие зарплату, приходили на работу со своей собственной туалетной бумагой — за отсутствием оной на «Свободе», каким-то чудом удержавшейся тогда на волоске.

Пользователям программы Google Earth (или воронам, которых в Английском парке в изобилии), здание среди зеленого

массива должно напоминать гусеницу-восьминожку. Тыл защищен одним из ручьев Английского парка. Фронтон после взрыва обнесли стеной. На подходах — пространство, разлинованное на девять теннисных кортов, через проволочную сетку которых советские журналисты так любили снимать «Свободу». За кортами трамвайная линия и еще один ручей, вернее, рукав того же Айсбаха. Над бурным потоком возвышается целый бастион старых жилых домов, выходящих с обратной стороны к набережной Изара, а интимным тылом к нам. От радио не близко, метров четыреста, но взрывной волной там выбило все стекла, что вызвало у жильцов прилив эмоций к подрывному центру, приземисто-гусеничная архитектура напоминает о том, что изначально здесь был американский госпиталь с палатами, отделениями и операционными залами. Года через четыре там возникнет институт информатики местного университета. Но это будет после нас. После того, как мюнхенский период кончится.

Пока что всё, как есть.

Как устоялось за десятилетия холодной войны, тайны которой нам сейчас огласит гонец «с холода», всем своим.

Зал выбран самый лучший. Здесь были, возможно, операционные; сейчас это Хоуленд Сарджент зал — в честь первого директора радиокорпорации, которая начала свою активность под наступательным названием «Освобождение». Этот, говоря по-русски, актовый зал имени Хоуленда Сарджента уже отмечен, благодаря гостям моей программы, сильными событиями. Булат Окуджава здесь бросал на стол свой партбилет, объявляя под аплодисменты сотрудников «Свободы» — бурные и продолжительные — о своем разрыве с КПСС. Взойдя на ту же сцену, беспартийная Белла Ахмадулина просто читала свои стихи.

По разряду культуры, законно празднующей свою победу над советской властью, генерал КГБ не проходил никак. Конечно, VIP, конечно, важный, возможно, даже эпохальный гость. И никто не спорит, что аббревиатура обладает субкультурой, время от времени выдающей всенародные хиты из фильмов, снятых «по заказу Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР (а потом и просто СССР без оскорбительного «при»). Никто не пригласил его подняться над аудиторией. В голову никому такое не пришло. Даже любезному британцу. Весть о капитуляции не произносят свысока.

Сам генерал, избалованный вниманием в Москве, вряд ли ожидал, что окажется не только лицом к лицу с превосходящим противником, но и на одном с ним паркетном уровне: то есть, заметно ниже нашего пока что молчаливого большинства. Но

кишка была там не тонка — напротив. Что по сравнению с ним мы, микрофонные борцы из безопасного далека? Вот он, фаворит самого Андропова, получивший генерал-майора в тридцать восемь мальчишеских лет, выступил против своей своей альма матер, коей был, можно сказать, любимый сын, в самом ее лоне. Лишился за это звания и всех наград, жил в перспективе ареста и суда. Только фортуна и тут не оставила любимца. Сразу после фиаско ГКЧП, этого рассосавшегося «бунта серых», Горби все возвратил ему по полной. И в развороченном событиями лоне генерал на данный исторический момент являлся даже не вторым номером, а де факто Первым — поскольку, в отличие от нового председателя КГБ, по специальности инженера-строителя, назначенного с разрушительной миссией, генерал был все же профи.

Словом, герой.

И в то же время монстр.

Поскольку, как ни крути, а ремеслом этого советско-антисоветского «силовика» было все то же — насилие, уничтожение, разрушение, хаос… Смерть. *Non-being.* Да, вот именно…

Небытие.

Безмолвие было таким, что я, отложениями солей по молодости лет не страдающий, услышал хруст собственной шеи, когда повернул голову налево, к дверям, из-за которых нако-нец-то появилась моя сотрудница, шагая вперед алюминиевой палкой с резиновым набалдашником.

Все это время меня, наблюдающего за генералом и его аудиторией, терзала совесть из-за того, что бросил человека за станком одного, чтобы самому не пропустить всё с самого начала. Человек, впрочем, от любопытства не сгорал и работы ради готов был манкировать событие. Но мне не хотелось, чтобы она отказывалась от общественной жизни с ее увеселениями и забавами, пусть специфическими, но, в конце концов, на каждой французской ярмарке, как ты лучше меня знаешь, всегда есть свой павильончик Ужаса. Буквально уломал ее сходить на генерала. Но, несмотря на данное мне обещание, не был уверен, что вместо того, чтобы одолевать два марша лестницы, она не уйдет домой — закончив работу и попросив в фойе охранника вызвать ей такси. Теперь душа моя была чиста.

Отвлекаясь от созерцания генерала, народ у входа расступался, давая ей пройти. Мою сотрудницу вынесло в первую шеренгу — прямо к шефу безопасности.

Фрост ей кивнул, и взглядом она ответила ему, как старому знакомому.

Надо сказать, что, несмотря на мою к нему симпатию, этот Фрост меня определенно раздражал. Не только своим видом скромного всезнайки. В коридорах он прилагал лицевые усилия, чтобы не заметить меня — парижанина! писателя! звезду! При этом постоянно пошучивал с бывшим малолетним преступником, который неведомо как оказался на Западе и вырос у нас до редактора военной программы. Но хуже всего было то, что Фрост тормозил мой производственный процесс, то и дело умыкая сотрудницу, без которой я оставался, как без рук. Или он сам заглядывал из коридора, но обычно обязывал (где-то за кадром) явиться к себе в такое-то, крайне неудобное для меня время, и работа внезапно прерывалась. Бросая меня с недочищенной пленкой, она брала сигареты, зажигалку и начинала свой крестный путь, передвигаясь сначала из своего крыла в главный коридор, а там направо и до самого упора, где была дверь с неброской надписью *Security*. Пару раз я сопровождал ее в надежде, что при мне долго пытать не станут. За первой дверью там был офис, где работала заместительница Фроста — немка. Эта красивая брюнетка вскакивала, высокая, упругая, приветливая, и, без стука заглядывая во внутреннюю дверь, впускала хромоножку дальше. Дверь за моей сотрудницей закрывалась поднявшимся ей навстречу из-за стола Фростом. Его дверь была постоянно закрытой. В отличие от двери немки — широко распахнутой.

Переминаясь в коридоре, я бросал невольные взгляды. Каждый раз в ответ срывал улыбку. Лучезарную. Абсолютно убийственную.

Повезло ему, думал я, отворачиваясь к окну и вспоминая при этом моменты, когда за пределами работы они оба попадали мне в поле зрения. Пересекая мостик через ручей на нашей Оеттингенштрассе. В 20-м трамвае по пути из центра. При том, что пышноволосая брюнетка была выше своего начальника на голову, воспринимались они, как пара; и я делал свои выводы насчет этого симбиоза. Тогда, в трамвае, я возвращался с охоты за американскими пейпербэками, а они предположительно с обеда; держа прямо спину, брюнетка глядела в окно; не отпуская поручень ее кресла, он стоял с потрясенным видом — ну абсолютно счастливые люди. Изо всех сил пытающиеся счастье свое скрыть. Господа? Это было серьезно. Только это серьезно и было. Говоря же о том, чем они занимались по определению… Тут можно и должно судить только по себе, а в безопасности здесь, где все, так или иначе, впадали в фатализм, — нет, совершенно я себя не чувствовал.

И, отворачиваясь после обмена взглядами к окну,

выходившему на внутренний периметр, на стоянку по эту сторону белой стены, возведенной с трех сторон после взрыва, я думал: «Вот она, наша контрразведка… Пара возлюбленных».

На полторы тысячи душ.

И каждая такие потёмки, что черт ногу сломит.

Итак.

Что можно показать по существу… Радио?

Это, конечно, детство.

Наше счастливое, то есть. Его радиодни. Бред антагонистический (он же, согласно психиатрии, манихейский), с самых первых проблесков вменяемости лился мне в уши из принудительных «тарелок» и «точек» Всесоюзного радио. Затем пришел Хрущев, и началась *разрядка напряженности.* Я уже выходил (все еще, впрочем, пребывая) из ангельского возраста неведения, когда после нашего возвращения с Рижского взморья произошли два, на первый взгляд, малозначительных события.

Дома, в уютном свете модного торшера лежала на круглой его подставке волнующе-толстенькая книжка «Охотник за шпионами». Рука потянулась сразу — я знал и эту толщину, и этот малый формат. Несмотря на несерьезное имя Орест Пинто, автор новинки «Воениздата» был представлен, как подполковник английской контрразведки. И — о радость — отчим разрешил. «Читай пока…» Сам то ли прочитал, то ли отложил на потом, занимаясь необычным делом наматывания сверкающей медной проволоки на поблескивающий карандаш:

— Антенна…

Приятно прозвучало. Созвучно космической эре.

— А зачем?

— Чтоб лучше слышать.

Я хотел быть детективом; и еще несколько дней назад в Риге клянчил у мамы увиденный там в витрине вузовский учебник «Криминалистика» (до сих пор помню, что стоил п рублей с копейками). Теперь, читая сэра Пинто, стал приходить к выводу, что контрразведка намного интересней.

Кроме новой мебели, той весной они купили радиолу «Даугава». Привезли из магазина «Радиотовары», который только что открылся за кладбищем, напротив кинотеатра «Мир». «Наконец-то в доме будет музыка», — объявила радостная мама, которую я сразу же после этого сопроводил в магазин «Грампластинки», где она купила («Нам на 33 оборота, пожалуйста!»): большую Первый концерт Чайковского, среднюю «Джонни», поскольку в школе у меня английский, и маленькую «Сибоней» — в честь Фиделя и кубинской революции. Меня это радовало не только, как частный пример возросшего

благосостояния нашего советского народа. Я представлял себе уютную картинку, мы все в процессе семейного прослушивания грампластинок и передач Всесоюзного радио, слышимость которого по нашей кухонной «точке» меня, кстати сказать, вполне удовлетворяла. Но отчим повел себя неожиданно. Квартира имела две комнаты, большую и маленькую, где отчим, растянув антенну до самого потолка, стал уединяться с «Даугавой», никого при этом к ней не допуская. «Тревожить отца» мама не разрешала, хотя сама была в тревоге по поводу этих уединений, добиваясь от него таких странных поступков, как занавешивание окна, выходившего прямо на автобусную остановку, пуховым их одеялом, купленном еще в Ленинграде: изумрудный атлас. — Не говори глупости, Люба. — Это не глупости, Леонид! Услышат люди, сообщат? В Германии за это сразу расстреливали. — Маме я верил, ее угоняли в рабство, и с интересом переводил глаза на отчима, который отнекивался вяло, будто не до конца был убежден:

— Никто меня не расстреляет…

Услышат, что *слушает…* Это было что-то новое. Расстреливали — за *что?*

Сообщат — *куда?*

По эстетическим причинам я слушающего не подслушивал, но, проходя мимо закрытой двери, невольно замедлял продвижение и напрягался слухом. Сквозь дверь доносилось надсадное завывание: *Уу-Уу-Уу-Уу…*

Я не верил своим ушам.

И это то, что слушать мне запрещено?

После уединений с воющей радиолой появлялся он отнюдь не в радостном настроении — накурившийся и красный, будто занимался заведомо предосудительным делом. В маленькой комнате, куда я спешил войти, слоями плавал папиросный дым, но самый интригующий запах распространяла радиола, перегретая изнутри всеми своими радиолампами, погасшим зеленым глазом, стеклом поисковой панели с городами мира, где почему-то не был никто из взрослых, которых я знал.

Запах Тайны, бросившей мне вызов в 1959 году.

Разгадке не способствовал тот факт, что «джаз КГБ», то самое самоупоённое завывание, распространялось радиомачтой, которая возвышалась прямо на нашей улице, но, правда, в конце, там, где Долгобродская впадала в проспект Ленина, — четыре остановки на трамваях «тройка» или «шесть». На вопрос, для чего это, отчим не отвечал, а мама считала, что, видимо, связано с этим самым космосом.

Между тем, мачта во дворе сталинского дома, выходящего на

проспект, и от проспекта, где проезжали иностранцы, этим домом загороженная, была той самой глушилкой, ставшей знаменитой на весь мир за то, что именно ее злоумышлял во имя свободы слова взорвать студент радиотехникума, упомянутый Солженицыным.

Я ни о чем тогда еще знал. Ни о глушилках, ни о КГБ, ни о том, что существует западное радиовещание на Советский Союз. Но я был непредвзятый мальчик. Принимал жизнь так, как она накатывала. Радиола — так радиола. Шпионы — так шпионы. Вещи вроде бы противоположные: шпионы делают свое дело тайно, кутаясь в плащи, таящие кинжалы. Тогда как радио вещает для того, чтобы все знали всё и были в курсе последних известий. Не говоря про чистые услады, которые в промежутках скуки льет концертами по заявкам или там «Оптимистической трагедией» — театр у микрофона…

Но в мою жизнь это вошло одновременно.

Начиная с того момента, все последующее существование можно «прочитать», как постепенную утрату инстинкта самосохранения в приближении к ужасу, которым в Союзе пугали взрослых.

Видит Бог, никогда не помышлял я о карьере «диверсанта в эфире», продажного писаки, капающего с пера излишками того самого яда, которым он брызжет в микрофон. Несмотря на то, что женой моей стала иностранка, в Москве у нас даже транзистора не было. С другой стороны, когда предоставлялась возможность, я неизменно настраивался на подрывную волну. Один раз это было в номере гостиницы «Октябрьская».

Испанский мой тесть отошел в сортир, а мы с женой вцепились в транзисторный приемник, который ему только что подарили в Кремле, вместе с двумя наборами коллекционных водок. Приемник был отделан ценными породами дерева. Полировка. Инкрустации. Антенна выдвигалась под самый потолок. И мы, конечно, сразу же поймали. Не помню, что именно — «Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкую волну» или даже саму «Свободу». Но это было что-то подрывное, и мы ловили кайф. Не от послания, а от сознания, что слушаем мы это в самом логове: *in the belly,* можно сказать, *of the Beast.* В арбатском переулке на задах высотки МИДа. На самом здании вывески не было, потому что это был ведомственный постоялый двор — от Международного отдела ЦК КПСС. Тесть из-за шторы появился раньше, чем мы успели выключить. Распространил запах французского одеколона. Дозастегнул брюки (нас увозили на юбилейный концерт во Дворец съездов). — Вижу, нравится тебе приемник, Аурорита, — сказал он по-испански своей дочери, и я,

молодой ее супруг, весь обомлел, чтобы не выдать рвущееся ликование. — Думал подарить тебе, чтоб меньше здесь скучала. Но, видимо, отвезу твоей матери в Париж. А вы забирайте водку. Только не для того, чтоб пить! Алехандро? Компрендес?

Чего тут было не понять. Тесть был не лыком шит. На то и был он будущий генсек Компартии народов Испании. Ничем не выдал гнева, которым был охвачен. Потом, уже без меня, объяснил, что это было бы святотатство. Слушать Америку на приемнике, который подарили советские товарищи. Где Кремль в лучах! Где 50 лет СССР!

Отставленный от западной пропаганды, иногда я все же приникал. Вспоминается Нижнекисловской переулок. Там, на конспиративной квартире, куда по причине московской бездомности нас сунули на зиму 1976-77, был старомодный, но прекрасно все берущий «комбайн» на ножках. На его стекле запретные волны, трепетавшие на тему Прав человека, были уже прорезаны чем-то острым — возможно, даже стеклорезом. Предыдущими постояльцами. Каким-нибудь лидером национально-освободительного движения, чью расческу нашел я в рыжем сейфе, который стоял там в спальне. Без перхоти. Из черной пластмассы с крохотной надписью *Fabricado in Nicaragua.*

Ну, а последний месяц в СССР, новыми победами встречающим очередной юбилей — 60 лет, как жизни нет — провел, можно сказать, приложась ухом к динамику транзистора «ВЭФ-2». Так на него подсел, что расстался только в день убытия в Париж, успех сбегать и вернуть его в пункт проката на Трифоновской (там, улица идет налево, поднимаясь к проспекту Мира).

Выбрав свободу без кавычек, я не сразу покатился по наклонной плоскости.

Но заковыченная корпорация имела в Париже свое бюро. Оттуда мне позвонили в понедельник, прочитав в «Фигаро-диманш» декларацию молодого московского писателя.

Это было в 7-м аррондисмане. Авеню Рапп, 20. Генерал Рапп, кстати сказать, герой Бородино. Но помню, как, перейдя ветреную Сену по мосту Альма, я вышел к устью роскошной перспективы и ухмыльнулся, прочитав название проспекта аббревиатурно: как РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей.

А на подходе было и авеню Франко-Рюсс — уводящее вправо, к Эйфелевой башне. Тоже было прочитано, как знак, сжимающий горло сознанием необратимости времен.

Но в том, что касается РАППа, ассоциация моя попала прямо в цель. Бюро «Свободы» оказалось не столько подрывной американской точкой, сколько клубом русских писателей в

Париже. Даже пролетарскость — и люмпен-пролетарскость — их была неоспорима — за исключением разве что Виктора Некрасова, человека эпохи Большого стиля, любимца Сталина и несомненного аристократа.

Мало того, что дверь была параноидально неприступной. Аристократической внешности дама меня долго не впускала; в длинных морщинистых пальцах дымился голуаз без фильтра. Параноидальная румынка так доставала Чаушеску, что по его приказу ее постоянно избивали на улицах Парижа. Но это я уже знал. Румыны — бьют.

А наши?

В студии на седьмом и последнем этаже прекрасного дома «арт нуво» и состоялся мой первый опыт гласности — с опережением Москвы на десять лет.

Горло никак не разжималось. Режиссер моего государственного преступления — возможно, родственник «Мисс Мэнд», советской писательницы, под старость лет поехавшей на еврейском происхождении Ленина, — то и дело отключал запись и давал советы.

Но нет. Опять фальстарт.

Голос заклинило.

Я смотрел на микрофон со страшной надписью *Radio Liberty,* он был забран сеткой и на эмалированном чугунном пьедестале; я представлял себе беспредельную, уходящую прямо во Вселенную завьюжено-темную страну миллионов жадно-пылающих ушей, обращенных к приемникам, прижатых к транзисторам. Изо всех сил я повторял попытку к ним обратиться. Но тут же провидел то, что произойдет. Необратимые последствия. Площадь Дзержинского. Старую площадь. Кремль. Громады тоталитарных зданий. Радиоперехват, который ложится на стол Председателя Комитета государственной безопасности СССР, а затем на полированные столы членов Политбюро во главе со «вторым» нашим Ильичем, который насупливает бровеносо свое незлое в общем-то лицо. — Это что же у нас, Юрий Владимирович, получается? Мы творческой молодежи идем навстречу, а молодежь? — Наш недосмотр, Леонид Ильич. Будут приняты меры. — Да уж извольте. Чтоб неповадно было…

Силясь разжать голосовые связки, я знал, что держит меня за горло страх. Ноль без палочки, никто, а теперь к тому же отщепенец, я собирался бросить вызов выживающему из ума «Коллективному Разуму». Взять на себя за это всю ответственность. Это просто жизнь на карту. И если бы только одна моя. Волны адреналина так и омывали сердце и то, что в черепной коробке. В такие игры еще я не играл. Функшпиль

покруче, чем «русская рулетка».

За стеклом режиссер отложил свою по-сталински изогнутую трубку. Скрылся в коридоре. Вошел в мою звуконепроницаемый вакуум с затянутой в кожу фляжкой:

— *Un calva?*

— Мерси, — принял я серебряную пробочку, шибанувшую яблочным хмелем. — Вы часом не внук Мариэтты Сергеевны?

— Все спрашивают… Нет. Однофамилец.

Я выпил.

Крутанул барабан. Приставил ствол к виску и выстрелил.

И все потом пошло, как по маслу. Мне заказали «скрипт». Приняли заявку и на серию. Не успел я оглянуться, как стал фрилансом и всеобщим любимцем парижского бюро, что, надо думать, отражало заочные чувства высшей инстанции.

Мюнхен.

Возможно, в Западной Германии, где город на Изаре называют «тайной столицей», слово «Мюнхен» и звучит, как музыка. Но не под Эйфелевой башней [которую мы с Виктором Некрасовым рассматривали на перекурах с балкона парижского бюро, можно сказать, в упор (но надо было высунуться за грань стены на авеню Монтескье)]. И не в отдельно взятом моем сознании, по которому с первых его проблесков начали долбить про Гитлера, про Путч и Сговор, про Столицу Движения и про Дахау — инфернальную базу Оплота Реакции Франца-Йозефа Штрауса и Осиного Гнезда, которое под эгидой ЦРУ свили себе окопавшиеся здесь, у Английского парка, пауки в банке.

Под Эйфелевой башней, где я сумел продержаться на плаву не много, не мало, а целых семь лет, меня все убеждали, что пресловутые мюнхенские «пауки» — отнюдь не только лишь метафора советской контрпропаганды. Но запугать аранхофобией меня не удалось.

Переехав на работу в Мюнхен, нашел я, что всё здесь далеко не столь ужасно, как это представлялось.

Ужас был в другом.

В том, что на рынке бытия свободу и Париж я обменял на это…

С точки зрения парижанина, каким я стал незаметно для себя, вокруг царил тотальный ужас и бруталитет. Невероятно, что когда-то — в Союзе ССР — такой хичкоковской музыкой звучали сами эти слова: *Западная Германия… Бавария… Мюнхен…*

Афины, так сказать, на Изаре.

Первое время, впрочем, отчетливо — глаза при этом округлив — я видел в Мюнхене только дантиста, который со всей мускульной энергией трудился над ликвидацией последствий

нашей парижской нищеты. И все же просто невозможно было представить, что у этих лимитрофных стран есть общая граница. Что до Парижа ночь на поезде, а лёту — полтора часа. Со всей моей предупредительностью, толерантностью, учтивой деликатностью я чувствовал себя, как на другой планете. Казалось бы, тоже была просвещенная монархия. Но почему никого не просветила? Почему всё осталось таким грубым, неотесанным? И нельзя сказать, что благорасположенным к чужакам.

В Париже одна оккультная особа, сумрачная квартира которой на бульваре Бомарше была заставлена бюстами Ленина, доказывала мне, что весь в целом Мюнхен, где совсем не случайно в расцвете творческих сил умер Фассбиндер, есть геопатогенная зона. Да! Узел страданий, завязанный энергетическими линиями. Что предъальпийские геолого-тектонические особенности, платформа, кора, сама его почва, пресловутый Boden, на котором город возник, благодаря пивным монахам темного средневековья, — есть источник безумия, воплощенного в истории общеизвестными фактами, событиями и личностями — от сумасбродных баварских королей с их сказочными замками до Гитлера «и его» — указывая мне на полчище посеребрённых лысых бюстов.

Особа, конечно, очень хотела, чтобы мы, друзья дома, остались в Париже, но сейчас, изнутри «зоны», я не мог не признать, что в ее страстном мракобесии было рациональное зерно.

Помимо почвы, здесь был зловредный *Föhn,* задувающий с альпийских высокогорий. Фён… Одного этого достаточно, чтобы сойти с ума. Во всяком случае, именно этот сухой и теплый ветер, зимой создающий иллюзию весны, а круглый год — хорошего климата, выдвигал в качестве мотива для своего героя-убийцы Ингмар Бергман в своем единственном мюнхенском фильме, снятом здесь во время самоизгнания из-за налогов: *Aus dem Leben der Marionetten,* «Из жизни марионеток», — естественно, самом кровавом в фильмографии шведского гения. Где, скажите на милость, где еще в Западной Европе клиент, перед тем, как овладеть проституткой, способен ей перерезать горло?

Я никого не убивал.

И даже не ходил к проституткам, хотя приехал в Мюнхен раньше жены и дочери. Но был всецело не в себе. В газете прочитал про географию западноевропейского счастья. По результатам опросов выходило, что в самой счастливой стране Ирландии мне делать было нечего, а в самую несчастную уже приехал.

Отчуждение, твердил я по-французски, как будто сам звук слова мог помочь. *Алъенасъон, алъенасъон…* Свое состояние я объяснял то депрессией, мной незаметно овладевшей, то чисто геофизическим синдромом заброшенности в чужую и чуждую среду, то просто сигаретами, которые, несмотря на их американские названия, оставались мало того, что лицензионными, но стали еще и скверно-немецкими, в результате чего я был вынужден вернуться к черному французскому табаку «житанов»: чуть что, чуть минимальный стресс, и я уже хватаюсь за родную черно-синюю пачку с цыганкой, танцующей фламенко.

Признать ошибку и вернуться? Но уехал я ведь тоже не случайно. Прекрасное слово номбрилизм. Самоупоенность концентрации Парижа на собственном пупке. Не столько нищета меня пугала, сколько парижская оторванность от мира за пределами хорошо еще если «Гексагона», как называют в Париже Францию, но, как правило, просто кольцевой дороги Пе-риферик. То тоскливое чувство безысходности, которое возникает у фрустрированного космополита в отдельно взятой могучей монокультуре — других знать особо не желающей.

Нет.

Возможно, любимая страна у Бога, но французский рай я потерял, и надо нести дальше крест самоизгнания. Здесь, в Западной Германии, во всяком случае, имеет место свой космополитизм — пусть и в навязанной ей форме американского присутствия.

Все это было, разумеется, несправедливо. Чистой воды субъективизм, и Дойчланд, Дойчланд — юбер аллее. Пройдет жестокосердное западноевропейское время, и, оказавшись на планете, по-настоящему другой, иной нешуточно — *no kidding!* — я даже буду впадать в германофилию — да, всякий раз после первого глотка импортного *Weiss-Bier,* а также, что происходит много реже — раза два в год — наведываясь в отдаленный городок, где есть германо-швейцарский продовольственный магазин и — с предвосхищением вурстов — вспоминая, какие в Мюнхене были голландские селедки, а красное французское вино — начиная с пять марок:

— И знаешь что, шери? Вполне уже можно было пить!

Депрессия была там или нет, но я в нее не «впадал», что подразумевает пассивно-лежачее состояние. Я нес ее, поднимая своим скелетом в полный рост. Каждое утро напротив дома садился на конечной в трамвай Нумер Цванциг, брал с соседнего сиденья использованный «Бильд» и, стиснув зубы, ехал к Английскому парку на работу.

По дороге я каждое утро находил в газете свидетельства

правоты парижской ведьмы. Местные изуверства отличались изысками. Домовладелец держал в подвале раба, закованного в цепи. Известный хирург-ортопед забавлял себя, причудливо сшивая мускулы и связки лыжникам и легкоатлетам. Первое время также удивляли голые аборигены. Совершенно нагие, дрожащие и сиреневые от холода подростки обоего пола. Не давая мне сойти, вся эта мюнхенская босота и нагота ломилась в трамвай на остановке «Тиволиштрассе», куда они с риском для жизни приплывали издалека, из-под самого гитлеровского Дома искусств *(Haus der Kunst)* на Принцреген-тенштрассе, по притоку Изара, который исходил ледяной кипучей яростью в русле, проложенном параллельно рельсам того трамвая.

Говоря о «банке с пауками», тут несколько помогало, что мнил я себя, скорее, энтомологом, подобно Кафке, прежде всего изучающим паука-в-себе. Так что, будучи уже не вольным стрелком-фрилансом, а штатным сотрудником, стаффе-ром, я пребывал в определенном отрыве от реальности, всеми силами поддерживая этот свой зазор, будто на самом деле был не ландскнехт, не профессиональный антисоветчик, не клеветник, не диверсант, а *writer-in-residence,* как водится в настоящей Америке, в Америке *американской:* если уж не пи-сатель-при-университете, то писатель-в-присутствии.

Фантазия, за которую я хватался, давала право на отсутствие — чисто внутреннее. Не то, что бы впал в рассеянность, как Паганель. Просто ничего не замечал. Потом сквозь всё застилающую пелену отчаяния по поводу своей погубленной жизни стало проступать. Нет, далеко не все. Потому что был я избирателен в том, что себе показывал. Но кое-что просто бросалось в глаза.

Так, к большой моей досаде, невозможно было избежать ежеутренного вида на туго обтянутые и тесно сжатые — лезвия не вставишь, говорят во Франции — половинки зада, которым, опередив меня, усиленно работал вчерашний советский паренек с разболтанными конечностями. Анус зажат так, как будто и на Западе в нем продолжала действовать программа самозащиты от внезапной агрессии с тыла; все же прочее — как без костей. На финишной прямой он не курил, а дергал. Коротко и часто вырывал затяжки. По протекции всемогущего Поленова, этот бывший малолетка стал одним из моих коллег. Мало того. Каждое утро меня обгонял, что добавочно снижало мою самооценку.

Были и менее яркие персонажи, от вынужденного созерцания которых просто нельзя было сохранить *joie de vivre.* Какая там радость жизни! Не впасть бы в мизантропию.

Никто мне здесь не нравился. Ничто. Все отвращало. Оскорбляло чувство прекрасного.

Недоучел я этот момент при выборе «Свободы» — а ведь был решающим, когда выбирал свободу без кавычек.

А всё потому что не Париж. Несмотря на все мои к нему претензии, жил я там среди писателей, поскольку непишущие люди меня занимали мало, а если с последними, жену сюда включая, и возникали межличностные отношения, то я пытался убедить их взяться за перо.

И вот на этом фоне в тонах почти трагических возникла одна дама, которая к месту работы приезжала на такси.

Обычно то был светло-бежевый мерседес, большой и тяжелый, с особо укрепленными бамперами спереди и сзади, — и не обычно, не как правило, а, независимо от таксиста, всегда был мерседес, поскольку таксомоторы других автомобильных марок просто неприняты в городе, который на пару с Цюрихом образует тандем самых богатых городов Западной Европы, а к тому же свято блюдет традицию гомогенности в чем только можно. Раз такси, то будут мерседесы, и притом светло-бежевые. Чтоб никакого разнобоя. Так решает Мюнхен — в отличие от своего швейцарского жирного близнеца, и не говоря уж о Париже, приветствующем разнообразие — *difference* — в чем только можно.

Здесь нет. Здесь не Париж, как сказано. Унификация всего. Однородность, однотипность. Выталкивание того, что чуждо.

Как они нас терпели?

Интернационал на краю Английского парка? неважно, что не коммунистический, а совсем наоборот. Биологическую разносортицу кож, рас и организмов? И не где-нибудь, а прямо в Английском парке супротив освященной двумя столетиями, разбомбленной американцами, но скрупулезно восстановленной их деревянной Хинезишер-турм, пятиэтажной Китайской башни, где бухают литавры духового оркестра, где ароматы жареных свиных ребрышек и белой редьки, нарезаемой гирляндами, овевают биргартен на семь тысяч посадочных мест и пивом HB, что значит Хофброй, освященным еще Лениным и Гитлером.

А терпели (если нужен ответ на риторический вопрос), только благодаря освободителям от нацизма, которые буквально выпестовали здесь, в бывшей столице бывшего движения, относительную толерантность.

Дама пользовалась уважением у ленивых церберов частной охранной службы, которые сиживали в сторожевом «стакане» форпоста. Автоматический шлагбаум немцы поднимали перед всеми машинами, но выбегали наружу только к ее мерседесу.

Такси описывало полукруг, вставая перед тремя березками на газоне — так, чтобы задняя дверца пришлась прямо на дорожку, ведущую к крыльцу, а охранник эту дверцу перед ней распахивал. Возможно, дама была влиятельной. Или сочувствие к недугу?

Неспешно рассчитавшись, выходила дама палкой вперед — алюминиевой палкой с резиновым набалдашником и удобным, с мягкой прокладкой, упором для предплечья.

Сказать «со следами былой красоты», было бы, пожалуй, преждевременно; пусть возраст, но дама была привлекательна. Большие, слегка навыкате глаза, романтически-синие, а в краткой улыбке благодарности, которую она дарила счастливому стражу, было нечто от той высшей, и я бы даже сказал единственно западной цивилизации, которую мне пришлось покинуть (ибо в своей конечной, квинтэссенциальной взвеси Запад — это только, единственно и исключительно Париж.

Dixit!).

Неизменно хорошо одета. И не в местном бюргерско-баварском смысле, а опять-таки в элегантно-парижском — даже когда на ней был только темно-синий плащ с погончиками и хлястиком, брюки и сапоги. Не без тенденции к плотности, но держащая себя в форме дама, которая могла поломаться где-нибудь на лыжах в Альпах.

Глядя ей вслед, всецело допускал.

Но время шло, а переломы не срастались, и церемония высаживания повторялась — палкой вперед.

Во время одной из них, подходя с улицы к проему входа, я замедлил шаги, чтобы предоставить даме все необходимое пространство и в который раз задал себе вопрос: кто посадил у входа на «Свободу» эти якобы ностальгические березки? Не иначе, как американцы. Кто же еще? В тщетной попытке угодить русской душе…

— В чем-в чем, а в геронтофилии тебя бы я не заподозрил, — сказал нагнавший меня в этот момент Наум. — Нет-нет, — спохватился он в ответ на взгляд, — Летиция, конечно, факэбл. Но на пределе. Как у вас в Париже говорят? А ля лимит?

— *Летиция* зовут?

— Заранее знаю, что ты скажешь… Да! Как героиню «Искателей приключений». Боже, как любил я Шимкус!..

— Кто же не любил… Француженка?

— Белогвардейская. Доца первой волны.

— А здесь кем?

— Да мелкая сошка в Русской службе. Кстати сказать, *old flame*[3] *и.о.* их главного редактора.

И.о. я знал и удивился несовместностью с ним этой дамы:

— Имеешь в виду Поленова?

— Доколенова, ага…

Впервые я проявил к кому-то интерес. Мы были погружены тогда в Союз Советских, как в самих себя. Всецело, как уходят в астральный полет, или в ТМ — трансцендентальную медитацию. Теоретически я сознавал, что нахожусь в уникальном месте, где людей неинтересных нет по определению, что подтверждала и советская пропаганда: *изменники, предатели, пособники…* Но ни эти люди, ни их увлекательные судьбы, ни то, что творилось у нас под носом, нас не занимало; меня же еще меньше, чем коллегу Наума, который поневоле находился «в теме». Его предприимчивая Рита пыталась создать свой бизнес, независимое машбюро для обслуживания нарастающих потребностей Русской службы в распечатках магнитных лент. Через Риту и приходили вести «сверху», с первого этажа, где как раз в тот момент происходила очередная буря в пресловутой «банке»: вновь падало американское начальство, чем никого не удивишь. Только на этот раз по причине сверх-скандальной, какой явились вышедшие в мировую прессу предположения в потворстве антисемитизму. Мне самому, как бывшему парижанину, пришлось давать интервью присланному к нам для расследования корреспонденту французской «Монд», и чувствовал я себя при этом нелегко.

Буквально накануне я оказался очевидцем весьма сомнительной выходки со стороны одного из наших коллег, аналитиков старшего поколения и ветеранов войны, познавших ее с обеих тоталитарных сторон. Этот человек по фамилии Гужев занимался Советской Армией, кадровый состав которой знал поименно, начиная чуть ли не с младших лейтенантов. Собственноручно вел картотеку в длинных деревянных ящичках. Надев старомодные очки, день начинал свой с проработки «Красной Звезды». Периодически в наш общий кабинет (из которого я вскоре съехал напротив), являлся его сослуживец по РОА, но, видимо, младше чином; раскладывал свое хозяйство и стриг господина аналитика под бокс — не механической машинкой, а ручной. Должно быть, было больно, не могло не быть. Но Гужев все терпел. Сидел при этом на стуле, вынесенном в проход между столами. Окутанный простыней, небрежно заткнутой под ворот. Полевой парикмахер пытал его не молча, а с шутками и прибаутками а ля Василий Тёркин, но Гужев молчал. Не реагировал даже лицом. Злые языки (как будто они бывают добрые) приписывали нашему с Наумом коллеге хобби более чем странное. Якобы по ночам он с сыновьями, произведенными и выращенными уже в Западной Германии, выходит в Английский парк охотиться на приверженцев однополого секса. Такой, мол,

фамильный подряд. Семейная айнзацгруппа, вооруженная баварскими охотничьими ножами: берешься за шерстяную ножку с копытцем. Но что конкретно они делали, выходя, в соответствии с нравственным кодексом Рейха, «на пидарасов»? Просто разгоняли, разнимая, в случае обнаружения контакта? холодным оружием потрясая для убедительности? Потому что вряд ли убивали. Я бы обратил внимание. В трамвае просматривал локальную жёлтую прессу: сообщений о подобных — малозатейливых — бруталитетах не было. И я всё эти сплетни делил более, чем надвое, пока однажды перед концом рабочего дня ко мне вдруг в полном ужасе не вбежал Наум с «Литературной газетой», распластанной на груди, и я, вскочив навстречу ему из-за машинки, оказался лицом к лицу со стариком. Подсвеченный люминесцентным светом коридора, Гужев, собравшись воедино, наступал по пятам беглеца, шипя при этом: «Кыш… кыш-ш-ш… унтерменьш-ши…» Образ противника коллега наш малоразличал, переключившись сразу на меня. Свинцовые глазки неподвижны, физиономия с налипшим чубчиком сжата, как третий кулак, весь налит недоброй силой, в любой момент готовой перейти в аксьон, так сказать, директ… — Вам бы домой, господин Гужев… Вызвать таксомотор?

Выброс эмоций на это был таким, что я едва успел, шагнув назад, захлопнуть дверь, на которую из коридора обрушились кулаки ветерана иных времен: «Заели — не продохнуть! Давить!..»

Уставши, пнул дверь, пообещав, что сейчас «с ребятами» вернется.

Наум развел руками. — Таким явился из кантины. Наверно, пенсионеры напоили. Я читал статью в «ЛГ»… этот Иона, какая все-таки сволочь этот Иона, скажи? Говорят, полковник… Да, так этот как вошел, так сразу сзади и накинулся. Я ему: «Иван Васильевич? Иван Васильевич?» А он…

— Совершенно охуевши он, Иван Васильич… Настоящее, думаешь, имя?

— Развед-псевдоним Сталина? Да Боже упаси.

— Интересно, как зовут на самом деле.

— Да хоть Иосиф. Хрустальный нож всегда за сапогом.

— Да, блядь, — ответил я на это. — Россия зарубежная…

И это был только отголосок. Подлинные страсти борьбы между «космополитами» и «патриотами» клокотали там, над нами, на авансцене Русской службы. Мы тут, полуподвальные мозговики, наслаждались, можно сказать, невовлеченностью…

— Ладно, нет худа без добра. Как раз хотел обсудить с тобой темплан, — сказал Наум, выкатывая кресло из-под стола моего отсутствующего соседа. — Надоело мне заниматься мелочами…

— Видеореволюция не мелочь.

— Преходяще, — отвел ладонью он область своих актуальных изысканий. — Душа взыскует вечных ценностей. Не заняться ли мне Комитетом?

— Ты имеешь в виду…

— Госбезопасности СССР.

— В каком аспекте?

— А фронтально. Как генератором перемен.

— Обсуди с начальником.

— А ты что думаешь? Не тема?

— Запретных у нас нет.

— Да, но в смысле перспективы?

— Об этом, Наум, читай у Ницше. Придется смотреть в бездну. По долгу взятых обязательств.

— И что?

— И бездна не оставит тебя без своего внимания.

— Я, как ты знаешь, служил в израильском спецназе… Нет, ты скажи не как писатель. Как прагматик… Не завтра, не послезавтра. Но лет через пару-тройку… Вдруг все-таки не апокалипсис? Вдруг там накроется всё медным тазом?

— Не исключено.

— И что тогда? Переквалифицироваться в управдомы? Ой, слушай! — Его как подбросило с кресла. — Ничего, что я сижу за столом твоего прораба?

Он имел в виду Стива, моего подопечного, который в своем предыдущем качестве на строительстве московского «Восьмиэтажного микрофона», как назовут в мировой прессе новое здание посольства США в Девятинском переулке, обнаружил под своим началом целую стройбригаду «в штатском»: «Но у меня же только одна пара глаз!»

— Сиди-сиди, — сказал я.

— А где он?

— В штате Орегон…

Я честно пытался сделать из Стива аналитика. Но Москва травмировала его настолько, что этот юо%-ный американец возненавидел не только советологию, не только политику, но и «планету людей». Я никому не сказал, что получил от него письмо. Стив нашел работу лесорубом, и возвращаться за свой стол на радио «Свобода» не собирался: книги его могу отправить в топку…

Наум погрузился в анализ советской прессы, а я откатился и, сложа руки на груди, уставился в окно. Так мы и сидели в моем, теперь, надеюсь, отдельном кабинете с видом на сырую зелень, которая смеркалась; сидели и не знали, когда можно будет выйти.

По коридору пролегал путь в библиотеку, одну из лучших на Западе по советологии, но читателей в нашем заведении было немного, тем более не в этот час.

Окно с типично-камерным срезом стены, которое вначале было у меня, как у прочих аналитиков, оставшихся в общем зале, — на уровне колес и выхлопных труб припаркованных машин вспомогательного персонала — теперь выходило на пойму одного из ручьев Английского парка, название которого я дам себе труда узнать только тогда, когда мне это станет совсем ненужным; заодно со всем прочим, чего я не знал тогда, в изображаемые времена середины 80-х.

Так или иначе, но ручей называется Оберстегермайстербах. Что значит в переводе ручей Главного Стрелка.

Потом мы разыскивали Наумов пиджак, выброшенный в окно на опустевшую парковку. До этого, срывая чувства, Гужев долго футболил его и мозжил об углы, запачкав так, что не надеть, тем более, что был по сезону светлый. В карманах все — сигареты «НВ», новые очки и шариковая ручка «Паркер» — растоптано в крошево, прах и труху. — Фронтовой рецидив, наверно, — бормотал Наум, как бы объясняя себе коллегу, на которого решил не жаловаться по инстанциям из высших стратегических соображений. — То есть? — Эхо, говорю, войны. Бей жида-политрука, морда просит кирпича…

Корреспондент «Монд» заранее был полон сочувствия. Но я не стал рассказывать про наши полуподвальные дела. Даже *off the record* — не для записи. Высказав мнение, что если подозрения и не беспочвенны, то во многом гипертрофированы.

И еще одно событие на какое-то время обратило наше внимание на непосредственную сферу обитания.

Корпорация, где мы работали, была самым большим подписчиком на советские издания в свободном мире (по советской статистике, получали мы здесь «291 советское периодическое издание, в том числе 59 газет и 232 общественно-политических и научных журнала»). И вот, листая свежий номер полутолстого «Журналиста», я натолкнулся на посвященную нашей корпорации документальную повесть под странным названием «Февральское «квадро»». Автор, укрывшийся под типично-«компетентным» литературным псевдонимом (Викторов Василий Иванович), доказывал, что взрыв 23 февраля 1981 года, причинивший нашему зданию ущерб на два миллиона долларов, организован был силами… Центрального разведывательного управления.

Да. Вот именно. А то, что, согласно советской пропаганде, ничем иным, как филиалом того же ЦРУ, мы не являемся,

Василия Ивановича не только не смущало, а как раз более чем устраивало: «Сами себя и подорвали…»

Вскоре я увидел «подрывной» экземпляр журнала в руках шефа внутренней службы безопасности, который пролетел с озабоченным видом. Ботинки Фроста взвизгивали на линолеуме, будучи на резиновом ходу.

Несмотря на наглый абсурд посылки, «Квадро» содержало персональный компромат, разработанность которого (по сотрудникам и порокам) не оставляла сомнений. Источник информации среди нас. Внутри.

Кто же он, этот инсайдер? Кто в принципе им может быть? На некоторое время это стало дежурной темой, благодаря которой, как распухшие утопленники, всплыли все активные мероприятия ГБ против «Свободы» — удавшиеся и нет. Все автокатастрофы, все странные и преждевременные кончины сослуживцев. Оказалось, что среди них была и попытка отравления всего персонала скопом — через кантину. Узнал я и о предположительно-селективном методе, направленном на моих коллег-аналитиков, по долгу службы вынужденных работать с отравленной — то есть, буквально! — партийно-советской печатью.

Мрачность всего этого несколько развеяла одна из навязчивых тем произведения ГБ, которая облетела всю корпорацию и стала притчей во языцех. Под названием *Ебля на столах*.

Вскрывая совокупный моральный облик идеологического противника, автор с площади Дзержинского заявил, что в служебное время сотрудники «Свободы» совокупляются на своих офисных столах. Взывал ли он тем самым к пуританизму наших попечителей с Капитолийского холма? Тот самый случай, когда трудно уличить во лжи. Настольный факт, возможно, был. Где-то. Когда-то. Теперь же кабинеты радио почти сплошь заполнял предпенсионный возраст, бабушки и дедушки чопорной второй волны. Поэтому смеху было много.

Говоря же о столах, которые, впрочем, начали уже менять в порядке общего обновления, то в большинстве своем они все еще оставались вполне антиебабельными. Цельнометаллические, как вагоны. Несокрушимые. И невподъём, конечно. Но как-то в свое время доставили сюда их из Америки, которая решила в соответствии со своими принципами и краеугольными камнями противодействовать несвободе.

Столам этим очень шли пишущие машинки *Adler* — с чугунными станинами, с припаянными по центру оловянными орланами. У нас уже наступила эра электрических *IBM* с печатными сферами, но я всегда извращенно любил все, что

напоминало о Фултоновской речи, о Рузвельте, о Трумэне — эпохе, которая и породила весь наш Левиафан, ощеренный антеннами, направленными на Восток…

Мне было неприятно, что изнутри стучат.

Директор «Свободы» Джим Кейли ходил, как уже поверженный Голиаф, человек-гигант, утративший не только позвоночник, но и фактуру. Вялая гора в желто-горчичном пиджаке размером с пальто. В очереди стоял, возвышаясь надо всеми, но брал уже не пиво, а кофе, и уносил, расплескивая в блюдце. Смотрел на всех глазами спаниеля.

Полиглот, военный разведчик, герой холодной войны в Берлине и Париже, доверенное лицо издателя-антикоммуниста Акселя Шпрингера, член редколлегии журнала «Контингент» и друг Правилова (голову мне оторвавшего, но обрекшего на нищету в Париже), Кейли был еще и журналист, и автор книг нон-фикшн — к примеру, On *Germany and Germans*. Познавательная работа. Несколько стихийная в композиционном отношении и затемненная синтаксисом, который был, возможно, свидетельством архаичной любви к Фолкнеру. Германию и немцев этот космополитичный американец, надо думать, понимал, когда-то женившись против воли своего начальства на дочери видного нациста. Но речь не о немцах, а о русских — пусть и «по профессии». Зачем его поставили руководить русскими? Теперь он у своих бывших подчиненных чуть ли не просил прощения за это, при случае оправдываясь за фиаско своим собственным происхождением… безукоризненным, дескать… будапештским…

Потом он исчез, чтобы где-то за кадром стать соавтором гэ-бэшно-цэрэушной книги, когда в кратковременную моду войдут подобные — совместные — проекты, а строптивую Русскую службу Вашингтон придумал дисциплинировать с помощью нового начальства — армейского образца.

Директором «Свободы» был назначен экс-полковник, директором службы — экс-майор…

С первого же дня нового режима всем, кроме дам, было вменено в обязанность носить на службе галстук.

На мне был узкий и в косую полоску в тот день, когда резко открылась дверь, и появился плотный брюнет, похожий не на американца, а на майора Брежнева — в эпоху «Малой земли» покойного генсека.

— Вот они где! — провозгласил новоназначенный директор, добравшийся до самых дальних своих владений, и, встречно вставая за своей непрозрачно-стеклянной ширмой, в ответ ему по-мальчишески высоким смехом засмеялся начальник нашей

группы, отчего-то полагавший, что ветер теперь задует в наши паруса.

— Работайте, работайте, — говорил по пути в его отсек директор, и я работал вполне самозабвенно, пока непрерывность щелчков моей «Ай-би-эм» не прервала здоровенная рука, схватившая меня за галстук.

Сам по себе жест в высшей мере сомнителен. Рука произвела вдобавок оценивающе-потирающий поджест своими толсто-волосатыми пальцами, будто передо мной был не директор нашей уникальной институции, а провинциальный парвеню, впервые в жизни попавший в мужской отдел Галери Лафайет.

— Парижский?

— *Qui.*

— Тю вуа! — восклкинул он, — я сразу узнал. И книжки на языке читаешь… можно? — Взял у меня из-за спины со стеллажа и тут же удивился. — *Mais c'est toi?*

— *Qui, c'est moi.*

— Ты книжку издал в Париже?

— Не одну, — ответил я, издавший две.

— Так ты писатель? Экривэн? *Экривэн рюс?..* — И вдруг восторг на лице американского майора сменился гневом:

— И эти салопарды тебя в подвал загнали?!.

Что значит решительность выпускников Вест-Пойнта: буквально на следующий день я был переведен в Русскую службу, повышен до 13-го *грейда* — перескочив два *пойнта* — и поставлен руководить культурой вместо переведенного на какие-то другие дела легендарного Пола Нигерийского, одного из больших в прошлом боссов, человека далеко не молодого, но пропившего свою номенклатурную передвигаемость. Хотя не письменный английский, который был у него великолепен. На переводы Пола и перевели. До этого он по заказу начальства переводил мой доклад «Русский узел» для международной конференции советологов, и вообще лет уже восемь я был его автором — единственным, кстати, кому он доверял вести программу в свое отсутствие. Так что Пол повел себя профессионально, а может быть, фаталистично; но, во всяком случае, достойно. Чего нельзя сказать о прочих «баронах».

На утренней планерке, где я обычно представлял наш скромный резервуар мысли — *think tank* — и принимаем был ими снисходительно-приветливо, новый директор сообщил об утвержденном свыше решении. У службы отвалились челюсти. И сразу же, за первым пивом стала собираться оппозиция «баронов» — старших редакторов, метавших в мою сторону косые взгляды через всю кантину. Потом один из них, который настаивал, чтобы

его звали через «ё», как героя «Анны Карениной», подошел и пригласил меня за большой их стол у окна, которое полуподвально выходило во внутренний пивной сад:

— Мы тут посовещались… Ты должен отказаться.

При этом пряников не предлагалось. Должен — и всё. Потому что в условиях бойкота, дескать, все равно работать не смогу.

Но у меня идеи, господа. Так сказать, *vision.*

Нет. Охваченный бредом реформаторства, уступать общественности я не собирался. Было оказано давление через начальника нашей единицы. Шеф мой, уже бывший, расставаться со мной и сам не хотел, но, в конце концов, решил, что так будет лучше для пользы дела. Кандидат наук, он был на досуге страстный геймер в области настольных баталий. В руководящем его отсеке к мутному стеклу разделительной ширмы был приклеен им собственноручно изготовленный коллаж, на котором своим вырезанным ножницами фотолицом он наделил мудрого полковника-наставника, а моим — Рембо, который *First Blood.*

В накачанных руках у меня там, готового разить бескомпромиссно, был многоствольный пулемет.

Грядущую программу я решил назвать «Поверх барьеров». Второй сборник стихотворений Пастернака вышел весной 1917 года, в канун демократический революции. Эпоха, которая, я чувствовал, должна будет в России повториться, сама фигура Нобелевского лауреата — все это был неотразимый симбиоз. *Over the Barriers!* Руководство службы будет рукоплескать.

Но этого было мало. Прежде чем осуществить все это в звуке, я должен был изложить «мою концепцию культуры». Она у меня была. В отличие от Макклюэна, я считал, что не *the media,* не средство информации, а *the present is the message.*

Именно он, ведущий, суть сообщение и главный аргумент. Сим победиши…

Мне не терпелось им все это высказать. Но Поленов, который продолжал быть здесь третьим по власти человеком, по понедельникам не работал, и совещание назначили на вторник. За выходные я пришел к выводу, что концепция страдает излишним лиризмом. Перенес акцент с ведущего на «ведомое», которое будет обеспечивать энергию и резонанс «поверхбарьерности». Не мог дождаться вторника.

Но Поленов не вышел.

Сообщая об этом, майор сочувственно поднял брови:

— Не пришел в себя, наверное, в понедельник. Тут они в воскресенье отмечали День рождения Советской армии…

Они?

Мне не нужно было объяснять, что имелась в виду группа

ветеранов, как дорабатывающих вроде Пола Нигерийского, так и специально приходящих для общения пенсионеров. Периодически группа занимала круглый стол в дальнем левом углу кантины, которая, несмотря на название, все же была больше рестораном, чем столовой. Кроме Поленова, все были старики. Невероятно крепкие — поскольку своевременно сдались одному врагу, потом другому, и жизнь прожили на курорте, чем, говоря объективно, Мюнхен и является. Пили так, будто все это происходило не в свободном мире. Водка разливалась под столом и сразу запивалась легальным пивом. Ерша давали не только русские. «Националы» тоже — примыкавшие к титульному ядру обычно как-то сбоку. Слегка завуалированное пьянство это американцами не возбранялось, тем более, что кантина была частным баварским предприятием, выигравшим «тендер» на обслуживание антикоммунистов. И группа ветеранов, в конце концов, заслужила право на алкоголизм. На них смотрели с толерантной усмешкой. Как на уходящую натуру.

Но что там делал Поленов, которому всего лишь сорок с хвостиком?

История моих с ним пересечений состоит из двух неоконченных эпизодов. Когда я впервые появился здесь, приглашенный из Парижа, не помышляя и даже отрицая для себя возможность штатной работы (как фриланс и вольный стрелок), Поленов просто на меня набросился: «Наш брат-невозвращенец! После митинга поговорим?»

Ростом мы были примерно одинаковы, но Поленов был похож на бывшего штангиста и, в отличие от меня, выглядел, как говорится, представительно. А представлял он на своем ключевом посту Америку и Свободу. Именно так, с заглавной буквы, думал я тогда.

На митинге я увидел, что «банка с пауками» состоит из молчаливого большинства, гнущего головы, одиночных мятежников (вроде громогласно-гневного Кирилла Атусевича) и руководства — не только американского, голос не подающего, но и пребывающего с ними за общим столом Поленова, твидовый пиджак которого казался на размер меньше, чем надо бы.

— Ник, — оборачивался к нему яйцеголовый американец, — твое мнение?

И.о. главного редактора…

В Париже корреспондент Земфира говорила о нем, как о своем хорошем мюнхенском знакомом: «Один из редких вменяемых людей». И я заранее готов был к всяческой симпатии. Ведь я еще учился в школе, когда матрос Поленов, которому был двадцать один год, соскочил за борт в Средиземном море,

успешно осуществив тем самым основополагающий фантазм моего поколения, которое борьбе предпочитало бегство.

На левой стене его кабинета, который соседствовал с директорской, висела карта мира, на правой страна головной боли — *Union of Soviet Socialist Republics*. С видом на карту исторической родины меня он и усадил. Впрочем, картография была гуманно-американской, так что устрашающим тоталитарный монолит не выглядел. Красным он не был. Он не был даже розовым, имея тот оттенок желто-зеленого, который вызывает представление о бледной немочи.

— Кури, кури, старичок, — отнесся Поленов ко мне простецки, но несколько архаично. — Как там Земфирка? Знаешь? Давай на ты!

Поскольку при этом он был Номер Три в службе я его горячо заверил, что в штат не собираюсь (отчего Поленову было ни холодно, ни жарко). Он спросил, какие у меня бумаги — нансеновские? Старомодный эпитет мне не понравился. Политэмигрантские, ответил я. Французский *Titre de Voyage*.

— Трэвэл докьюмент? И у меня такой же. Только бундесовый.

Его это обрадовало, а меня удивило. Никогда бы не подумал, что с «нансеновским» паспортом можно сделать такую карьеру на радио, где, по специальному закону о дистанционной натурализации, главной, на мой взгляд, привилегии штатных служащих, гражданством США обзавелись даже те, кто по-английски ни бум-бум.

— Но вы же…

— Ты, ты, старичок….

— Но ты же долго уже на Западе?

— Ну и что?

— Думал, ты, как все. Американец…

— А зачем? Чтобы террористы в самолете первым расстреляли? Нет, старичок. Свободу я выбирал в Германии, и если бы захотел, немцы мне завтра же дали бы паспорт.

— Немецкий… — сказал я, выражая интонацией, что не для русского это человека.

— Вот и я так думаю. Нет: ксива у нас с тобой железная…

Неубежденный в этом, я молчал.

— Или проблемы на границах?

— Да вроде нет.

— Лично я по всей Западной Европе без проблем. Вот женульке бы такой же сделать. Сентиментальным, наверно, становлюсь, но хочется показать ей, понимаешь, то самое место…

— Я оглянулся на карту мира, где он показывал мне Средиземное море — над Африкой. — Видишь? Там я свободу

выбрал.

— Вплавь?

— А чего там: милю до берега. Ноябрь: теплая вода…

Он еще поговорил о херовых бумагах своей жены, о том, что в Ливию лучше ехать сейчас, в ноябре-декабре, летом белому человеку там не выдержать, не говоря про Муаммара Кадафи, а потом извинился, разведя руками — запарка, мол — над своим цельнометаллическим столом, где в ряд были выложены бобины программ с притянутыми к ним толстыми красными резинками сопроводиловками, которые в этой системе назывались зелеными листами, от *green sheet,* хотя зеленым был только первый лист, а дальше копии и желтые, и розовые. С женою тоже нестыковка, а то пригласил бы меня к себе культурно посидеть. Библиотеку показал бы. У него собрано столько научной фантастики, что я бы не поверил, как такое можно, будучи на Западе. — Любишь фантастику?

Поскольку он был Номер Три, я допустил:

— Ну, так…

— Лема, наверно? И непременно «Сумму технологии»? — Он покивал мне по-хорошему, довольный своей проницательностью, а в то же время удостоверяя, что лично не против интеллектуалов. Потом согнал с лица улыбку. — В другой раз, старичок. Лиде Петрускян, Сонечке (секретаршам) мои приветы. Земфирке чмоки. Хорошая она девчонка… — И протянул толсто-лопатистую руку. — Ну, давай!

В другой раз, что было через год, Поленов выразил еще больший энтузиазм:

— О? Кого я вижу? Уже с концами, старичок?

Он не мог не знать, что Нигерийский пригласил меня в Мюнхен буквально на день для финального интервью, и прилетел я из Франкфурта-на-Майне, где «покрывал» декаду советского кино. [Дорогостоящее решение штаб-квартиры послать для этого фриланса из Парижа, лишний раз говорило о том, что вопрос о приеме в штат практически решен. Во всяком случае, так представлялось мне (к тому моменту вольный стрелок принял решение капитулировать и подал заявление о приеме на работу)].

— Пока нет.

— Нуда, нуда… Но всё как будто на мази?

— Надеюсь.

Как только Нигерийский заговорил в микрофон, в студии запахло перегаром. С другой стороны, была суббота, приехал на работу Пол специально. Я рассказал про декаду, символом которой стал главный фильм андроповской эпохи «Разбился самолет».

Поленов ждал за стеклом и сразу после интервью утащил меня со «Свободы».

В такси он повернулся с переднего сиденья, чтобы спросить, когда я подал заявление. Это я помнил точно. В тот день, на рассвете которого закончил свой второй роман «Нарушитель границы». Поставил точку, вкатил новый лист бумаги и написал. А потом отнес в бюро на авеню Рапп. Пройдя пешком весь путь с вершин Пасси, через мост и Эйфелеву башню, под ажурной юбкой которой специально прошел тогда для фарту. Но интимом делиться я не стал.

— В мае? Да-а-а, — протянул Поленов, потому что уже начался ноябрь. — Что, слишком долго? — Пока в пределах нормы. Но ты понимаешь, конечно, старичок… — Что? — Тебя проверяют на вшивость. — Со вшивостью все в порядке. — Я знаю, но случай у тебя особый, согласись… Какие у тебя отношения с Пра-виловым? — Никаких. — А как ты попал в его черный список?

— Отказался, — усмехнулся я, — от анилингуса. — От чего? — Жопу не стал лизать. — Старичок! Я тебя понимаю. Но дело в том, что новый директор «Свободы» Кейли — его дружбан. И Пра-вилов давит на него со страшной силой. Требует рвать головы, дословно выражаясь. У него тут все агенты советского влияния. А если кто не агент, то «вышибала из американского посольства», как назвал он Нигерийского. *(Поленов засмеялся; я не поддержал)*. Мы тебя, конечно, отстоим, но сам понимаешь… *(Нет! Я ничего не понимал. Я находился в шоке от услышанного, и, почувствовал это, Поленов решил дать время мне на переваривание)*. Ладно, приедем, там поговорим…

Привез он меня в небоскрёбистый отель — не столько высокий, сколько широкий. Мы поднялись на лифте, отражаясь в полированной латуни. Коридор был узковат, я шел за ним, глядя на ковровую дорожку, узор которой бесконечно воспроизводил планиметрию пчелиных сот, отражая, видимо, архитектурную идею: дом как улей. Дверь его номера была направо. Сбросив пальто, он сразу стал лить в стакан мне водку, «Абсолют» — как воду, нетерпеливо булькая, чтобы скорей наполнить с краем. Но, к счастью, не успел. Зазвонил телефон. Со словами: «Если нужна закуска, режь лахс: там, в холодильнике. Самообслуживайся, старичок!..» Вышел на балкон с телефонной трубкой, там закурил и придавил стеклянной дверью шнур.

Лахс? Что это? Ах, *saumon*…

Внутри холодильника ростом с меня озарился полуметровый блок розовой лососины, вспоротый так, что пластик по обе стороны скрутился трубочкой. Закусывать я не стал, а пить тем

более. Нет. Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, как говорит заокеанский друг. С какой бы это радости? Я думал, у меня все хорошо, а оказалось — хуже некуда. Правилов, этот маленький Сталин антисоветизма, не простил мне моего отдельного стояния. А что я мог? Как все они, прибиваться к вожаку, «пробившему» журнал у Шпрингера, состоящего в корешах у Штрауса? Ну нет у меня стадного инстинкта. Он меня даже напечатал от обиды, которая стала только еще сильней. Вот так я и влип в донос, первый в моей жизни открытый донос журнала «Континент», который в статье под названием «Звуковые барьеры радиовещания» назвал фамилию Андерс среди других «барьеров», звучащих подозрительно либерально: Эткинд, Сеземан… Теперь, конечно, все. Мне страшно захотелось назад в Париж — к Констанс и Нюше, которые ждали меня с победой в одной из башен Чайна-тауна, где Земфира (под эту же победу) приютила нас, на пятом году свободы оказавшихся бездомными. Билет был на завтра, но я бы улетел немедленно. Не хотят меня здесь — не надо. Подам на Би-би-си. Я окинул глазами мюнхенский гостиничный номер, который был, скорей, квартирой, в которой я бы жить все равно не стал. Отвратительно буржуазной ибо. Полировка, обивка и обшивка. Иконы и нонконформисты. Рабин, Шемякин, Целков. Привычный набор эмигранта с деньгами. Книг было много. По-немецки ни одной. Все на русском. Впрочем, с супера одного толстого корешка бросилась в глаза английская аббревиатура *«KGB»*.

Балконное стекло, переливаясь радужными каплями, размывало силуэт Поленова, который был так поглощен телефонным разговором, что не обращал внимания на сырость. Про меня и вовсе он забыл. Тем лучше. Уходи. Но как же? возразил я. Неудобно. Начальник. Готовый к тому же поддержать… Но голос повторил мне: «Уходи».

Я повернулся и ушел.

Может быть, из-за этого мое «дело о приеме на ‘Свободу’» и затянулось на два мучительных года? побив тем самым все рекорды этой неторопливой организации, куда, в частности, Поленов был принят всего лишь через год после того, как перемахнул за борт своего эсминца.

Последнее, на что я обратил тогда внимание, было маленькое бюро в прихожей. Темно-красное, с красиво висящими латунными ручками. Над ним нависала лампа на пружинках, в абажур вправлено большое увеличительное стекло. Коллекционер? Собиратель марок и монет? Это в половозрелом возрасте? Сам будучи лет до тринадцати «юный» филателист и нумизмат, я знал, что либидо решительно отменяет в свою пользу эти и

прочие хобби. Не навсегда. На время — пока не уступает старости. В своей книге он напишет, что хобби было подсказано ему в Карлсхорсте. Что, дескать, это была отличная идея, которая мотивировала его повышенную мобильность. Однако вот, показываю: мальчуково-старческое занятие человека с репутацией ебаря-тяжеловеса обратило мое внимание, — а задержись я на этом мысленно, то могло бы вызвать и подозрительность.

Сейчас, когда справедливость восторжествовала еще раз, и меня перевели из подвала на культуру, Поленов снова оказывался моим непосредственным начальником. Новость эту он, кстати, воспринял безучастно. Прежнего дружелюбия как не бывало. Минувшие годы вообще изменили его не к лучшему. Нечто мальчишеское (наивное? американское? кеннедиев-ское?), что было в его лице, необратимо исчезло. Огонь погас, подглазья набрякли. Физиономия стала, как оладья. Свой в доску парень превратился в дерганого истерика, и странность метаморфозы только подчеркивалась его неуклюже-медвежьей статью.

Все из-за женщин — так я понимал. С женой у него давно шло дело о разводе, но и с последующей было все непросто. В этом я убедился в первый же день своего нового назначения. Выйдя утром после митинга в коридор, я увидел недавнюю москвичку по фамилии Булонская, и не одну, а с плохо причесанной дочерью среднего школьного возраста. Дама была отчужденной, как говорится, супругой одного советского дипломата, не так давно выбравшего свободу и проходившему сейчас, надо думать, круги ада; ее же «пробовали» на предмет профпригодности, и в качестве экзаменатора был не кто иной, как я, уже сделавший для себя вывод, что особых аналитических достоинств там, увы, нет. О других достоинствах я не знал, и они меня не волновали. Это была высокая, крупная женщина, которая в тот момент поразила меня однозначным выражением своего простого русского лица. Непримиримая решимость — вот, что на нем мне прочиталось. Булонская, с лицом Веры Засулич, сделала крупный и нетерпеливый шаг ко мне. Пистолета в руках у нее не было, но ясно было, что сейчас она меня ударит или же обнимет. Ничто в наших пунктирных отношениях, происходивших к тому же при свидетелях, не могло вызвать ни этого лица, ни этого движения. На долю секунды меня охватила паника. Но тут Булонская увидела того за моей спиной, кого здесь караулила, и я все понял. То есть, мне только показалось, что все понял. Пристальный читатель структуры момента, я недооценил всю его сложность. Что и понятно. Каким образом я смог бы тогда постичь, что на самом деле любовница в тот момент собиралась ответить решительным отказом на санкционированную попытку

ее завербовать.

Задев меня своим твидом, Поленов поспешил на перехват. Увел за руку, держа женщину крепко и выше запястья. За угол и в коридорчик, который вел во владения начальника так называемого «Красного архива», фанатика-немца, принявшего, кстати, под нажимом Поленова на работу уголовника-малолетку (оказавшегося не только пунктуальным, но еще изобретательно услужливым). Застекленные двери за парочкой сомкнулись, но всем редакторам Русской службы, продолжающим выходить в коридор, было видно, как решительно Поленов повернулся к Булонской, которая распласталась об стену, как для большей надежности он блокировал ей путь отступления своей рукой, упершейся в стену на уровне ее груди.

Жанр сцены был всеочевиден. *Серьезное объяснение.* Уместное больше за углом сельского клуба, чем в «осином гнезде американской реакции». Девочка при этом продолжала стоять — явно выхваченная матерью из теплой постели. Непро-спавшаяся, нечесаная, ничего не понимающая и абсолютно несчастная.

Ухмыляясь, часть редакторов свернула в кантину к первому утреннему пиву, часть стала подниматься по лестнице, обсуждая своего начальника:

— Думает, самый большой в службе…

— Рашн лав машин…

Вполголоса: на всякий случай.

Совещание не состоялось и в среду. Поленов не вышел снова. Поскольку контрактом положены больничные, дней тринадцать, что ли, в год, можно не являться без объяснений два дня кряду, но третий надо подтверждать справкой о болезни. Однако Номер Три отсутствовал, даже не позвонив. В четверг Ирина, секретарша, хмурясь еще более обычного, при мне набрала телефон по месту его жительства. Поленов не отвечал, так что соображения по культуре мне снова приходилось оставить при себе.

Майор смотрел на меня из дверного проема.

— Фрустрация реформатора? Мне бы ваши заботы…

Он красен был, как рак. Бисером пот на лбу. День был, конечно, лучезарно-солнечный, но все-таки февраль.

— Что-нибудь случилось?

— Зайдите.

Он закрыл за мной дверь в знак конфиденциальности. Сел за свой стол и схватился за голову, взъерошив шевелюру.

— Не с пауками банка, — сказал он.

— Нет?

— Нет! Со скорпионами! Я допустил ляп. Ну, ляпнул нечто.

Что в пьяной компании сходит с рук, а будучи записанным на микрофон становится совершенно непозволительным. Тайно записанным! — добавил он, видя, что я не врубаюсь. — По-шпионски!

— Кто мог вас записать?

— «Кто»… Один из ваших коллег. Короче. Со вчерашнего дня ищу другое место работы. Вот как бывает, да?

Он привстал над беспорядком, нашел и — «Вам на память!» — протянул коробочку. В ней был секундомер. Круглый, как карманные часы.

Я нажал — время пошло…

Через неделю Фрост официально заявил об исчезновении Поленова, а в интервью «Нью-Йорк Таймс» даже не исключил возможность редефекции, то есть, возвращения туда, откуда двадцать лет назад убегалось: оказалось, что не часто («менее полудюжины»), но были и такие случаи в истории корпорации. Несомненно, что Фрост обладал большей информацией, чем гадающие на кофейной гуще (точнее — на пивной пене) рядовые служащие, безопасность которых он был призван охранять. Но нельзя было также исключить, что безопасность просто пытается успокоить ряды, из которых Аббревиатура начала изымать особо неугодных членов. Но чем достал их этот абсолютно некреативный человек? «Как же, — отвечалось. — Он же заочно приговорен был к смертной казни!»

Возникали и циркулировали спекуляции, но время шло, а Поленов, живой или приведенный в исполнение, оставался за кадром, и напирающая злоба дня с ее мелкими и средними катастрофами, в которых мне мнилось предвестие агонии и свирепое биение хвостом, рассеяла озабоченность судьбой пропавшего без вести начальника. Подтвердив тем самым мое давнее впечатление, что никто в службе его особенно и не любил. За исключением, быть может, группы ветеранов-алкоголиков во главе с господином Нигерийским.

Я уже говорил про топографию событий: в этом смысле в моей жизни ничего не изменилось. Кабинет бывшего шефа культуры я игнорировал. Формально принадлежа первому этажу, я продолжал готовить программы из полуподвала. Потом относил наверх директору, который теперь при всей шаткости своего кресла был вынужден работать за двоих, дополнительно изучая и подписывая в эфир программы. Что он, в моем случае, и делал — лишних вопросов не задавая, почти машинально.

Затем появлялся у «продукции».

Несмотря на то, что состав продукции включал и сильный пол, режиссеров и техников, это было своего рода «бабье

царство», которым заведовала большая разбитная тетя — в свое время, как говорили злые языки, бежавшая от ударов Красной Армии в немецком обозе с белым баяном в обнимку. «Вторая», военная волна. Волна, которая успешно удерживала заблаговременно взятые позиции и слоты (рабочие места) от напора «третьей» — и, кстати сказать, всецело была ответственна за вознесение бывшего матроса эсминца «Справедливый» к вершинам власти. Само по себе «волна» понятие пусть массовидное и полное кинетической энергии, однако рыхлое, что не вполне адекватно описывает послевоенную эмиграцию, внутри которой работала структура с еще довоенной историей весьма деятельного антикоммунизма. НТС. Народно-Трудовой Союз. Чем больше ГБ работал с этим «союзом», тем назойливей представлял его в качестве главного пугала и основного врага, тогда как сама история, ветер которой дул в паруса Лубянке, размывала некогда боевитую структуру. «Союз» дряхлел, его представляли некрасивые старые люди. Не способствовала обновлению рядов и репутация нашпиго-ванности «союза» советской агентурой, непобиваемой коронкой которой было разыгрывание «русской карты». Причем, чем яростней били этой картой, тем больше «союз» отталкивал. Не все, разумеется, там были «радикалы», но крайнеправый задор привносили именно последние, для которых Солженицын был тем же, чем триединство Эт-кинд/Копелев/Синявский для вермонтского отшельника. Нормального человека все это заставляло, как минимум, держать дистанцию. Но был и другой аспект. Испытанные кадры «союза», члены тайные («закрытые») и явные, а также попутчики и сочувствующие, переплелись за послевоенные десятилетия подобно грибнице в пугающем лесу Запада, заодно сцепившись и родственными связями. Результат представлял собой вполне реальную силу — пусть и не сразу, сказал бы я, интеллигибельную.

Сросшаяся со своим руководящим стулом Тамарочка (как звали тетю) щурилась на меня с непередаваемым выражением — как на мелкое говнецо, которое ежедневно возникает на пороге именно в тот момент, когда в задней комнате подчиненная Наля уж накрывает обеденный стол — не раздувая там только лишь медный самовар. Короче говоря, Кустодиев. Но взгляды взглядами, а Тамарочка вынуждена была идти навстречу программным требованиям. Назначать мне режиссера. Или передоверять попечению Дундича, презренного «третьеволновика», но в прошлом известного ленинградско-московского актера/режиссера оттепельного призыва и по внешнему виду одного из самых располагающих персонажей службы.

Не без скрипа, но процесс этот вершился до тех пор, пока однажды директор, с привычным уже мне благосклонным видом взявший текст программы, подколотый с зеленым листом, прочитав, достал из внутреннего кармана стило, щелкнул им и поставил на программе крест. Такой Андреевский. Из угла в угол.

— Не пойдет!

Я в темпе изваял замену, которую директор подписал, как обычно, сам все еще оставаясь взволнованным по поводу своего утреннего деяния:

— Но вы поняли, почему я запретил программу?

— Не совсем.

— Потому что, — сказал он, — глумление.

— Просто отсутствие пафоса.

— Нет! Глумление. Глумление, — подчеркнул он, явно читающий перестроечный «Огонек», — над флагманом перестройки. Перед которым у нас, к тому же, некоторые обязательства.

Имелась в виду белокурая внучка «флагмана», которая у нас работала.

Возможно, он был прав, и я не возражал. В конце концов, когда-то и сам по книге флагмана сдавал древнерусскую литературу. Дело было не в том, что мне «завернули» программу, а в том, что назревала ситуация. Стали возникать неожиданные люди — американец по имени Петр Николаев, а по должности, страшно сказать, *political adviser*. Не просто советник, а советник политический. У себя на родине он пел в церковном хоре. Что мог он присоветовать директору?

Нарисовался какой-то невменяемый советолог, по виду активный член Ассоциации Анонимных Алкоголиков. Тут же пропал, оставив по себе для размышлений свою фамилию: *Алкалъский*.

Из-за океана же прибыл православный человек отец Эраст, племянник, как зашептались, секретарши Ленина: повесил в кабинете рисунки Эрнста Неизвестного и стал окормлять аудиторию религиозной программой, куда, как в брешь, хлынули штатные сотрудники все того же «союза», причем, с такой плотностью, будто затея была придумана исключительно для их финансовой поддержки.

Все это было не просто печально, а могло окончиться катастрофой похуже «Титаника», поскольку Вашингтон демонстрировал полное непонимание того, что начиналось в Советском Союзе всерьез и надолго. И надо же. Именно тогда, когда Кремль наконец-то решительно приступил к «оттепели», предполагающей всяческое либеральное гниение, эфир

корпорации стал призывать Россию к ценностям национализма, убеждая нашу аудиторию в том, что после коммунизма ей нужна не демократия, а промежуточная стадия авторитаризма под названием «национал-большевизм». Советолог Николас. А. Дутов, выписанный к нам за госсчет из Штатов, к подобному исходу в своей одноименной книге и призывал, считая благом для страны своих отцов. — Промежуточная стадия — это, по вашей оценке, на какой период? — спросил я в студии. — Недолгий. Временный… — Нет ничего долговечней временных решений, говорят в России. — Что ж: в стабилизации национал-большевизма вреда для Запада нет….

Забегая вперед, можно сказать, что после «декады свободы» так и получилось. Но тогда мне все это казалось вопиющим мракобесием. Чьи интересы были за этим? Мне мерещились совокупления «ястребов». В своих политфантазиях я видел заокеанский военно-промышленный комплекс, братающийся с Главным Политуправлением, а РУМО с ГРУ, и весь этот биполярный нацболизм взывал к единственному спасению — «русскому Пиночету».

Немедленно надо было заворачивать руль.

Но с кем было делиться? К кому апеллировать? Если даже в «домашних» переводах на английский моих материалов, которыми я пытался обратить внимание на затянувшийся абсурд, мои термины из предосторожности заменялись так, что грозная «Русская партия» начинала выглядеть безобидной «русской группой». Типа мирно забивают в домино.

Помилуйте: какой Генштаб, какие трубадуры?

А диссиденты — за пределами, то есть, корпорации — как назло, дули в дуду, что Горби — новый Сталин.

* * *

Ухмылка Сатаны последовала за выходом в эфир моей программы. Ах, *поверх барьеров?*

Получайте…

26 апреля к нам поверх барьеров прилетело радиоактивное облако под названием «Чернобыль»; явившись домой с работы, я велел дочери с подругой, попавшим под ласковый весенний дождь, немедленно под душ! Немедленно!..

И с тяжестью на сердце слушал их переплеск и хохот.

На следующий день было воскресенье. Жутко, нездешне сияло солнце. Мюнхен вымер. Все сидели дома. И в этой пустоте наш скоч-терьер умудрился попасть под обезумелую машину. Никогда не забуду, как нес к ветеринару только что живое тело в пластиковом пакете.

Что плохо для человечества, то хорошо для нас. «Чернобыль» стал одним из первых наших массовых прорывов к аудитории. В подобные моменты интерес к «антеннам, направленным на Восток» зашкаливал.

Объявивший гласность Кремль молчал два дня. А запланировав на понедельник оглашение катастрофической новости, предпринял параллельно-синхронные меры по отвлечению от нее масс. Старая ли площадь обязала Площадь Дзержинского выложить все, что было у последней интересного, или то была встречная инициатива «Комитета», который тем самым заодно и наносил «контрпропагандистский» удар по мюнхенскому источнику информационного зла, только именно в тот понедельник 28 апреля на Центральном телевидении воскрес Поленов.

Ровно через два месяца после исчезновения.

Пресс-конференция!

Постфактум, в своей книжке вышедшей на Западе в год преждевременной смерти автора, которому было только 49, Поленов не скрывает постановочный характер этого провального телеспектакля, сценарий которого дважды переписывался на Лубянке, но при этом пытается рассеять подозрения, что заметная деформация его физиономии могла быть связана с мерами по принуждению. Нет, дескать, просто неудачно упал в результате потери сознания от неожиданной боли в почках, заглушенной стаканом бренди, которую ему сунула сердобольная домработница сэйф-хауза советской разведки в Восточном Берлине. Приложившись при этом левой стороной лица так, что

пришлось накладывать грим.

«Идем, идем! — неслось тогда из коридоров. — Поленова смотреть! Где телевизор?»

Тогда были не в каждом кабинете, так что основная масса зрителей сосредоточилась в кантине — под нависавшим с кронштейна. Меня поток принес в параллельный «сапожок», в общую комнату технических сотрудников, где спинами друг к другу стояли кубы машин для резки пленок. Большой «Грюндиг» здесь был водружен на стальной параллелепипед для файлов.

На экране Ник Поленов, который был представлен, как беглый советский гражданин, осознавший свою ошибку и вернувшийся на родину, приступил к официальному заявлению:

«Товарищи, дамы и господа!..»

Вокруг меня все затаили дыхание в ожидании сенсационных разоблачений. Но все свелось к утверждению, что корпорация, где мы работали, есть ветвь американской разведывательной службы. По поводу возникающих на экране фотографий, он — переигрывая убедительностью тона — резюмировал отрывисто: «Да, знаю. Такой-то… *Агент ЦРУ.* А это такой-то… *Агент ЦРУ…»*

Одна англичанка, моя бывшая коллега по исследовательскому отделу, все это прилежно конспектировала, пока из телевизора не раздалось и про нее: «Знаю и такую… Агент британской разведки».

Бросив записывать, девушка обернулась во гневе, но все смотрели на экран. Ясно было, что попал человек в переплет.

За два истекших месяца он сильно сдал — лицо, еще более опухшее и как бы перекошенное от затертой гематомы на заплывшей скуле, обильно-густая борода, в которой соли стало больше, чем перца. Новые очки на пол-лица, — родился в Год Обезьяны, кстати, — ничего интеллигентного в его облик не привносили, контрастируя с косым и плоским чубчиком. Он не был мне особо симпатичен в статусе коллеги. Но сейчас, когда он объявился агентом Аббревиатуры, меня невольно охватывала жалость к этой жизни — еще одной из выброшенных на помойку. Ясно было, как пень, что перед нами — апогей и кульминация. Наивысшее его деяние. То, ради чего все это предпринималось: заброс и внедрение (если был заведомый агент), а скорей всего — слом невозвращенца, сдача на милость победителям и десятилетия пьянства, которым он снимал себе стресс «в тылу врага» (если дал себя завербовать на столь дорого — и вплавь — доставшейся свободе). Нет, думал я. Ведомство лжерыцарей Дзержинского все-таки очень жестокая организация советских граждан. Человеку всего 42 года. Допустим, звезд с неба не хватал, но кукловоды? Ведь сознавали, что обрекают на разовое

употребление? Что после этой их самодеятельности, которая все равно не затмит разрастающуюся по миру катастрофу с Четвертым Реактором, ничего хорошего больше в жизни у него не будет; да будет ли и жизнь?

Я смотрел, как старшего «брата-невозвращенца» приносят в жертву Абсурду, а потом оттолкнулся от стены, сослуживцы уплотнились, дав протиснуться, — и вышел в пустой коридор. В ярости на тех, кто манипулирует нами. Блядь!..

Бессмертными нашими душами.

С некоторым отставанием по фазе, но трансатлантический ураган прозрения смел наше военно-патриотическое руководство. Но не культурную программу, пустившую корни в эфире. Называлась она *Поверх барьеров: Культурно-политический журнал.* И выходила ежедневно.

Много раз я слышал шутливое: «Сломаешь ноги, прыгая поверх». Теперь, в перспективе новых назначений, возникла надежда на то, что выскочка будет растоптан и сброшен обратно в ублиетку *where he belongs.* Но предвкушение «баронов» сменилось фрустрацией. Оказалось, что ревностным слушателем «ПБ» стал и Атусевич (кличка Атос), которого новое, на этот раз, в виде исключения, просвещенно-академическое начальство решило вернуть из лондонской ссылки на пост директора службы. В конце концов, Атос был «западник». В свое время первым в Союзе написал о Бергмане. Лондонский ссыльный согласился, но с рядом условий, одним из коих было принятие в штат бибисишного сотрудника Ранцева. Сей ренегат был мне предложен в качестве ведущего лондонского выпуска «ПБ». Вместе с нью-йоркским выпуском, за которой отвечал тандем американских рижан, моими аргументами освобожденный от унизительных псевдонимов, возникала радиоимперия.

В ответ я предложил Атосу добавить к программе еженедельный «Экслибрис: Наши чтения». *Literary,* мол, *supplement.* Литературное приложение… Сделал это несмело, памятуя о боссах, которые при слове «культура» хватались если не за пистолет, то за головы. Но Атос исходил из того, что культуры много не бывает. Что совпадало с ожиданиями аудитории, поскольку к тому времени симптомы новой оттепели стали сознательной политикой Кремля, которую Андрей Вознесенский назвал *революция культурой.*

Поэт произнес это в первом открытом интервью советского гражданина для «Свободы». В мюнхенском отеле на Изартор-платц. Отказавшись при этом от гонорара, который мне пришлось сдавать обратно в кассу: «Ну, что вы, Сережа… Деньги от Цэ-Рэ-У?»

Но прозаик уже взял. Андрей Битов. За интервью, которое дал мне в пивоварне «Лёвенброй».

Сразу после того, когда Стокгольм объявил Нобелевского лауреата по литературе 1987 года, я, сделавший ставку свою заранее, выпустил в эфир часовой «Экслибрис», посвященный Бродскому.

Перспективы программы были очевидны, и Атос обеспечил оптимальные условия работы. Отдельный кабинет — напротив своей директорской. На постоянной основе мне был придан Дундич — как режиссер. И даже собственный технический сотрудник, ради культуры освобожденный от других обязанностей.

По имени Летиция Дедерефф.

Та самая француженка, церемониальные высадки которой я наблюдал в мой первый несчастный мюнхенский год. С возникновением Поленова на советском ТВ статус ее, конечно, изменился. Пассия начальника превратилась в любовницу советского шпиона. Так что, услышав об этом предложении, я вспомнил стихи одного из моих новых московских авторов:

— Невеста фюрера…

Но Атос, человек экзистенциального поколения, который инструментальности ради отбрасывал репутации, молву, слухи и всю эту неподлинную категорию *man sagt* («говорят»), заверил:

— Человек исключительного тщания.

Нельзя сказать, что минувшие годы пролетели бесследно для ее красоты. К тому же ретроспективный удар от бывшего аманта. Сокрушительный и, увы, необратимый. Как она его держала? Но она держала. Не распадалась на куски.

Глаза были той же романтической синевы.

И передвигалась без палки.

Я был даже шокирован ее обязательностью, когда на следующее утро после нового назначения «на культуру» мадам Дедерефф появилась в дверях моего кабинета с вопросом, есть ли для нее работа.

— О! Вагон и маленькая тележка…

Мой кабинет превратился в затоваренную бочкотару. К служебному телефону присобачили «приставку» — чтобы я мог записывать авторов в Союзе прямо по линии. Стопки бобин, старых алюминиевых и новых пластмассовых, подпирали стену, свесив свои ленточные пряди. В адрес популярной программы слали материалы и на магнитофонных кассетах в мутных советских коробочках.

Я отобрал самые горячие ленты и понес их за Летицией. Коридорами мы описали букву «П». В параллельном «сапожке» у

нее была отдельная комнатка. Пахнуло французскими духами. Стеллаж со словарями и покетбэками, интерес к которым я подавил до лучших времен. Стены в сувенирах и фото — в рамочках и без. Много снимков из Соединенных Штатов — то ли родственники, то ли друзья. Уютный американский быт.

Изображение Поленова зияло отсутствием. Может быть, вычеркнула эту страницу жизни?

Летиция села за монтажный станок и закурила, щелкнув красивой зажигалкой. Я выбрал бобину, которую она насадила на левый шпенёк.

— Как вас по батюшке?

Щурясь от дыма своего «Данхилла», вытягивая ленту, закручивая вокруг пустой бобины, она ответила голосом человека, который нарушает обет молчания:

— Степановна.

— Из Белых лебедей? — Словоохотливый начальник, я уселся рядом. — Не всех, значит, заклевали красные вороны?

Она молчала, разматывая наушники, чтобы воткнуть их и уйти в оправданную изоляцию.

— Русский, значит, папа, Летиция Степановна?

— А мама, — было отвечено мне не без вызова, — еврейка. И по отчеству в Париже меня никогда не звали.

— *Ah bon!* Мадам из Франции?

— Oui, mais… — Ненастойчиво, сознавая, что на данном этапе это не столь уж важно, если вообще не ридикюль, но все же она внесла коррективу в свой женский статус, не мадам, мол:

— Мадемуазель.

— И что же вас привело в этот *pubelle? ma belle mile?*

Летиция засмеялась; лед был сломан.

Горбачев «раскручивал маховик», что отражалось и на мне: помимо семи программ в неделю, я должен был принимать визитеров из Москвы и Ленинграда. Поскольку касса на месте платила дойчемарками, деятели культуры валили стеной, доставая меня и дома. Но не в комнате Летиции, куда во второй половине дня я сбегал с «горящими» пленками и кипой непрочитанного мониторинга перестроечной прессы, которая просто упивалась наступившим беспределом. Я листал страницы, скрепленные по темам, наполнял ими мусорную корзину, поглядывал, как пальцы Летиции резали пленку под углом в сорок пять градусов: резали и склеивали, резали и склеивали. Специальной узко-белой лентой. Иногда зачитывал что-нибудь. Тогда она приспускала наушники, чтобы, выслушав из деликатности непосредственного начальника, ответить, как в классическом романе:

— Ах, избавь меня от этих ужасов…

Я не ставил ей в вину аполитичность. Законное право парижанки — защищать себя неведением. Тем более, что допустил faux pas однажды, когда дал ей московский очерк по новой тематике гласности, сексплуатации детей. Недоверчиво приступив к чтению, Летиция едва не грохнулась со стула, сбив прислоненную палку. Я бегал за водой, куда она что-то капала из рыже-коричневого пузырька, и руки у нее тряслись, но пузырек не отдавала, и я сейчас вижу эти пальцы с порезами, заклеенными медицинским лейкопластырем, а иногда обтянутые резиновыми напальчниками, которые я называл вьетнамскими презервативами, чтобы вызвать на строгом лице моей сотрудницы улыбку снисхождения.

Квартира у нее была там же, где до побега жил Поленов. В отеле «Арабелла», который злые языки назвали теперь «шпионским гнездом».

По ту сторону Миттлерер-ринг, Средней кольцевой дорогой, внутри которой лежит старый город, обрывается зона лимитированной этажности, что на востоке Мюнхена в престижном округе Богенхаузен отмечено выросшим сразу за границей грандиозным уродством — небоскребом Хипо-хаус. Алю-миниево-стеклянные блоки насажены на бетонные штыри колонн, и все это высотой 114 метров. Вершинное достижение местных архитектурных 70-х, которому предшествовали две более скромных высотки — «Шератон», а через улицу за ним блок в 70 метров высотой. Это и есть «Арабелла». Благодаря трагическим Олимпийским играм, здание было превращено в отель, но только частично. Помимо 629 номеров отеля здесь еще две клиники, сто офисов и 558 наемных квартир. Верхние этажи являют собой зону отдыха: бассейн на 22 этаже, спа на тысячу квадратных метров. С крыши на 23-м вид на Мюнхен и лежащие за ним на горизонте Альпы.

Место считается престижным. Квартиры здесь влетали корпорации в копеечку, так что поселиться в «Арабелле» мог либо большой начальник, которому достаточно только артикулировать волеизъявление, либо некто из «умеющих жить» со связями в совершенно непрозрачном отделе под названием Housing, который силами локальных кадров ведал вопросами расселения и слыл беспардонно коррумпированным.

Как француженка, Летиция была совершенно неспособна к даче взяток, так что можно было сделать вывод, что в «Арабелле» оказалась, благодаря протекции Поленова, который обеспечил принцип единства места своему служебному роману. В 78 году он женился на юной русскоязычной эмигрантке. Кончился ли тем

самым и роман, мне было неизвестно, но ко времени нашего знакомства Летиция была старожилом «Арабеллы», обитая в отеле уже, надо думать, лет пятнадцать.

— Ты прямо, как Набоков…

— Почему?

Ая-то думал, что общеизвестно:

— Тоже жил в отеле. — И прикусил себе язык, чуть не добавив: «В последнюю часть жизни». — В Гранд-отеле. Монтрей, Швейцария. Кстати, я там был. Встречался со вдовой. — Она молчала, и я развил: — Она была в гипсе. Сломала шейку бедра, поскользнувшись в ванной. Но жаловалась на то, что швейцарцы ее дискриминировали по возрасту. Угу… Лишили водительских прав.

— Это не мой писатель.

— Некоторые в Союзе считают его единственным оправданием русской эмиграции…

Но техническая сотрудница меня оборвала:

— Я его ненавижу.

Ссориться из-за этого я с ней не собирался и примирительно сказал, что и в этом она бы там не осталась в одиночестве.

Сам я в то время жил внутри Среднего кольца, но на самом краю старого города, на Бюлов-штрассе, где конечная го-го трамвая — на нее и выходили наши окна. Недалеко от «Арабеллы». Мы с Констанс пересекали проезжую полосу кольца, и мимо отеля «Шератон», мимо «Арабеллы» ходили в квартал Арабелла-парк. В супермаркет, в гости к поселившимся там сотрудникам, в рестораны, в кино. Такой оазис космополитизма. Там был ближайший к нам «карман» культурной жизни, включая киоск международной прессы в «Арабелле» (второй только на Главном вокзале), где мы покупали интересные сигареты, французские журналы и американские по-кетбэки.

Вне службы я не часто тревожил Летицию по телефону. Еще реже встречался. Это было в ее отеле, но в публичных зонах. За пивом «Пауланер» в одноименной «Харчевне», но чаще просто в холле. Там, перед роскошной дугой конторки с дежурными в пурпурной униформе, в черно-мраморный пол врезана стеклянная подсветка в виде большой буквы «V».

Вот в ожидании я и мерил шагами эту букву, гадая, какой смысл был вложен в нее баварскими создателями отеля, несомненно, чтившими своего земляка Рихарда Штрауса и его оперу «Арабеллу», премьера которой состоялась в Германии в неудачном 1933 году.

Кто кого победил этой *«V»?*

Летиция появлялась с улыбкой светской дамы. Дежурные ей

кланялись, а я передавал нечто *hot* — скажем, кассету для срочного переписывания на «свободовскую» ленту. С каким-нибудь антисоветским интервью, только что взятым у очередного советского деятеля культуры. Как правило, такое случалось, когда я был в отпуске. Деятели с этим не считались, находя меня и дома. Деятели становились не по-советски смелыми, но были еще по-советски бедными.

Потом она удалялась за мраморный край, а я отталкивал сверкающий латунный турникет на выходе, в который раз удивляясь тому, как упорно защищает она свое приватное пространство.

«В номера» к ней я попал, когда Летиция заболела после своего дебюта в роли режиссера.

Это было после шумного успеха нашего «радиофильма» по повести «Невозвращенец» никому не известного тогда Александра Кабакова.

Я прочел эту вещь, и на следующий день навязал советский журнал Атосу, заявив, что хочу это «ставить». Да. *Радиокино.* Все интересное рождается на стыках жанровых границ и проч. К тому же нас уже не глушили. Надо использовать эфир на всю катушку.

В тот же день вечером Атос позвонил мне из своего дома в Пуллахе, впечатленный тоже: «Ставить! Как можно скорей!»

Однако нас затормозили.

Ударно-прорывной потенциал «Невозвращенца» казался очевидным — но не всем. Возникла оппозиция, решившая сорвать мой креативный план. Боролись не на живот. «Бароны», почва у которых уходила из-под ног, запугивали американское начальство, доказывая, что «Невозвращенец» есть, как минимум, медвежья услуга Горбачеву, а по политической сути — адская машина, которую такие-то и такие-то собираются заложить под ГПУ — Гласность, Перестройку, Ускорение…

Победа досталась с перерасходом нервных клеток.

Вот, в какой форме (максимально мягкой) отразилась закулисная борьба в эфире [имена изменены]:

Александр Андерс:

Сегодня наш специальный выпуск. «Невозвращенец» — радиофильм по киноповести московского писателя Александра Кабакова. Сеанс, он будет двухсерийный, двухчасовой, начнется минут через ю. Перед этим наша маленькая кинодрама. Киноповесть Александра Кабакова — писателя, до этого неизвестного широким кругам читателей, появилась на страницах июньской книжки журнала «Искусство кино». Вещь немедленно стала сенсацией. Сначала — в Советском Союзе. Главные редакторы «Искусства кино» дают ответ: «Да, шестой номер, где

он напечатан, стал библиографической редкостью, мы и дальше будем публиковать наиболее острые сценарии».

Для «Экслибриса» вопрос на этом отпадает: ставить или нет «Невозвращенца» на нашей радиосцене. Ставить, немедленно. Еще и потому, что тираж «Искусства кино» 50 с небольшим тысяч, тогда как возможности Радио Свобода по утолению вашего спроса на «Невозвращенца», скажем, без ложной скромности, несколько шире. Иным из наших коллег показалась слишком острой вещь, официально опубликованная в московском журнале, прошедшая главлит, читанная, надо думать и в КГБ, и в идеологическом отделе ЦК, а возможно, и на уровне просвещенного Политбюро. Вот точка зрения, отражающая позицию тех, кто был против постановки «Невозвращенца» на Радио Свобода. Наш коллега редактор русской службы Владлен Линкович.

Владлен Линкович:

Мое твердое убеждение: не надо было Радио Свобода ввязываться в эту историю с «Невозвращенцем», не надо было инсценировать киноповесть Александра Кабакова.

АА:

Что можно сказать по поводу этого мнения? Общеизвестное пушкинское: «Что можно Лондону, то рано для Москвы» перестройка, похоже, наконец, отменила. И мы теперь, по крайнем мере, в нашем читательском восприятии, вполне на равных. То, что воспринимается как сенсация в Москве, точно так же воспринимается и в Мюнхене. Острота вещи, опубликованной под советским небом, отныне не утрачивается и по эту сторону границ. Этот факт перестройка, я думаю, может записать себе в актив. Что касается постановки «Невозвращенца» на Радио Свобода, то у нас тут, конечно, плюрализм. Ставить или нет, решили мнения других читателей, не только наших коллег, но и гостей радио Свобода.

Уилки Коллинз:

Я думаю, что очень стоит всем ознакомиться с этим сценарием. Он чрезвычайно интересный и хотя, может быть, не первоклассный, с точки зрения литературы, но мне казалось, что этот скрипт достаточно двусмысленный, чтобы быть весьма и весьма интересным.

АА:

Это говорил британский ученый-славист, профессор университета в Глазго. Не так давно в советской прессе он был назван одним из ведущих специалистов Запада по советской литературе.

Арсений Божедомов:

Я считаю, что такую вещь ставить совершенно необходимо,

потому что профилактика страхом является самой лучшей профилактикой во всех исторических процессах.

АА:

Так полагает независимый питерский религиозный писатель, литературный критик и публицист, наш гость из Советского Союза. Наш коллега, редактор русской службы Радио Свобода Федор Вагнер.

Федор Вагнер:

Что значит пугать людей чтением сочинения, представляющего, по сути дела, коллаж из того, с чем читатели и слушатели и безо всяких книг сталкиваются в своей повседневной жизни!

АА:

А теперь о повести Александра Кабакова «Невозвращенец» говорит независимый московский журналист, издатель «Митиного журнала» и член редколлегии журнала «Гласность», литературовед Дмитрий Волчек — наш гость из Советского Союза.

Дмитрий Волчек:

Отчего бы не делать такой передачи? Об этой повести очень много говорят в Москве. Как я вижу, говорят и в эмиграции. Вещь сама по себе интересная, раз она вызывает такой широкий резонанс.

АА:

Директор русской службы Радио Свобода киновед Кирилл Атусевич на вопрос о целесообразности постановки ответил нам с Юрием Дундичем однозначно.

Кирилл Атусевич:

Стоит, обязательно стоит!

АА:

А теперь мы гасим свет. Радиофильм по киноповести Александра Кабакова. Постановка силами сотрудников Радио Свобода под руководством Юрия Дундича. Режиссер Летиция Дедерефф. «Невозвращенец».

Диктор Юрий Дундич:

Я подошел к дому. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно: «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено», — было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее. Белые змеи ползли по мостовой все торопливее. Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опаснее. Но… справа из подворотни, от бывшей библиотеки метнулись тени, и через

секунду все было кончено. У меня с шеи сорвали автомат. С треском разодрали ворот свитера. Подталкивая стволом, меня впихнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать за руку несчастную охотницу за сапогами, которую обыскавший ее отправил к месту сильнейшим пинком в зад. Во дворе таких же, как мы, очумелых, было, наверное, около пятидесяти. Двор был довольно просторный. Мы стояли нетесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать по крайней мере в пяти облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной стражей толпе народа. Каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, и на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора. С четырех сторон двор освещали фары стоящих носами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный ящик, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож, и прокричал:

— Всем стоять смирно. Вы заложники организации Революционный комитет северной Персии. Наши товарищи захвачены собаками из Святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны, здесь, в этом дворе. Кто будет кричать — будем резать сейчас.

Она вышла меня встретить в коридор.

На двух палках сразу и в китайской шелковой пижаме, которая своим стоячим воротничком неуместно напомнила о военных кителях сталинской эпохи.

По контрасту с зеркально-латунным лифтом, доставившим меня сюда, на верхотуру «Арабеллы», в двухкомнатной квартирке особой роскоши не наблюдалось.

Разве что вид.

Но вид был в сторону, обратную от центра; скучный зеленый, плоский мир с дальним присутствием электричек на железной дороге, идущей от невидимого Остбанхоф, Восточного вокзала. Экономно низкий потолок. Несмотря на сдвинутую дверь балкона, было душно. Даже не столько по причине зноя, сколько из-за бетона, о котором говорят, что он «не дышит», в чем я сейчас и убеждался с каждым вдохом. Свой вклад вносила и шерсть для вязания, разноцветные клубки которой были в тесноватой гостиной повсюду, и особенно вокруг Летиции, прислонившей палки к плетеному креслу из старой эротической картины, и с двуручным усилием принимавшей позу своего одинокого недуга: возлагая ногу на табуретку. Правую.

— А вторая палка зачем?

— Левая тоже стала отниматься.

— Ф-фак…

Во мне болезненно повернулось чувство вины. Все это было из-за меня. Воспользовавшись оказией (тем, что Дундич в моем радиофильме был занят, как актер), я хотел поднять ее — иерархически. На должность режиссера. И она прекрасно с этим справилась. Но какой ценой! Я собрал воедино свои ортопедические познания:

— Но что с тобой? Конкретно?

— Да, знаешь… Ничего.

— То есть?

— Все анализы хорошие.

— А рентген?

— Патологии не обнаружил.

Выяснилось, что ни Содомка-Йост (наш общий с ней терапевт), ни лучшие мюнхенские специалисты по опорно-двигательным поставить диагноза как прежде не могли, так не смогли и сейчас; обстоятельство, которое в отчаяние Летицию нимало не приводило и даже, кажется, вполне устраивало в ее плетеном кресле из «Эмманюэль»: слева тумбочка с вязанием, справа пепельница с сигаретами и потемнело-серебряной зажигалкой «данхилл». Чашечка с кофейной гущей на дне. Там же пульт дистанционного управления. Человек абсолютно счастлив. Если тому и была помеха, то только в виде меня — сидящего визави и перекрывающего вид на экран телевизора с выключенным звуком.

— Чего-нибудь выпьешь?

— *No merci.*

На это она слегка усмехнулась, но на французский не перешла. — Если хочешь кофе, тебе придется сделать самому.

— Нет, *I am fine.* Ты почему сидишь, как на иголках, а, Летиция?

— Я не сижу.

Но призналась, что ждет фильм, старую картину с Джейн Фонда, где проституток режут.

— Любишь Джейн?

Она кивнула. Потом добавила: — Эта грудастая дура карьеру брату ее сломала.

— Какая дура?

— Неважно, забудь… — Но потом сказала. — Жена Поленова. Подполковник Фонда тоже учился в разведшколе, где она преподавала.

Поленов перед своим исчезновением успел развестись. И к настоящему моменту бывшая супруга давно уже вышла из тюрьмы. Отбыв там полгода из своих пяти, полученных по обвинению в вербовке американских военнослужащих и

нелегальных визитах в Берлин-Ост. Все это была, можно сказать, старая история по нашим временам. И я удивился запальчивости Летиции. Незаживающая рана?

Законную супругу шпиона я так никогда и не увидел, даже не представлял себе, как выглядит и чем могла покорить, как американского военного разведчика Фонду, так, собственно говоря, и Поленова, который привез ее в «Арабеллу» с Би-би-си.

— Что ты имеешь в виду под грудастостью?

Покачав головой, тем самым как бы говоря: ох, уж эти мужчины, Летиция отложила спицы и произвела одновременный жест расслабленными кистями, изобразив перед своей грудью огромные сферы (а в то же время бросив взгляд на телевизор).

— Это какой магазинный размер?

— О! XXL!

У самой Летиции бюст был идеален, но только по парижскому эталону. То есть, небольшой. Возможно, это тоже — с возрастом, с ее ногами — было фактором разрыва. Возможно, молодой ее любовник на самом деле искал материнство во всех формах и видах. И то, что завершилось ГБ, как символом и воплощением родины-матери, началось с найденных себе в туманном Альбионе арбузов под размер подсознательной потребности, материнских сфер, которые он смог разводить, лежа под ними, нависающими, чтобы, как страус в песок, спрятаться, скрыться, схорониться между. Стискивая себя внутри податливых вымен. Слепя и глуша себя жарко-влажной плотью. Сбегая в родные буфера от чуждой жизни. Поскольку точных наук о человеке нет, то позволительно спросить: не так ли начиналось возвращение невозвращенца? редефекция дефектора?

Рассиживаться я не собирался, но не мог не поднять всю эту тему:

— А почему бы не попробовать психоанализ?

— Что?

— Нет, я серьезно? Если бессильна медицина?

Не сразу, но выяснилось, что об этой возможности Содомка-Йост ей тоже говорила, тем более, что терапевтический анализ в Германии ничего не стоит, все «покрывает» медицинская страховка. Но в психоанализ Летиция не верит. Да? Да. Фрейд верил, Юнг верил, а Летиция не верит… Нет, не верит не в психоанализ, она даже была на Бергштрассе, 19, в музей-квартире д-ра Фройда. Да, в Вене — где же еще. Не верит она в то, что анализ будет работать в ее случае. Нет, дело не в том, что исключение — лично она. Во-первых, анализ не работает с французами, поэтому — ты обратил внимание? — во Франции большого развития не получил. Не потому что мы слишком

умные. Просто природа ментальности. Анализу не поддается.

— Так, — засмеялся я… — Национальный механизм защиты?

— Ну… *kind of.* Как говорит твой друг Литвак. Скажи ему, чтоб перестал. *Kind of sort of.* Прямо, как твои московские авторы с их *как бы.* Ухо режет.

— Скажу. А во-вторых?

— Во-вторых, или во-первых, я не знаю, но есть люди, — ответила она, — которые слишком… как это по-русски? Damaged.

— Которым нанесен слишком большой ущерб, — предложил я вариант и снова засмеялся. — Однако у тебя и самомнение.

— Почему?

А потому что все мы *damaged.* И в этом все психологически равны. Просто ты хочешь сказать, что все равны, но ты — равнее. Гордыня, Летиция. Смирись, гордый человек.

— Ты не знаешь, о чем ты говоришь.

— Я говорю о том, что надо попробовать. Как говорил Лаврентий Палыч? — И я воспроизвел шутку Юза, с которым Летиция была знакома, как и со всеми моими авторами, на которых производила неотразимое впечатление. — Попытка не пытка.

— Я пробовала, — созналась она, не поднимая глаз от вязанья.

— Ты ходила к аналитику?

Утвердительный кивок.

— Здесь в Мюнхене?

— Угу.

— И что?

— И ничего.

— В каком смысле ничего?

— Пятьдесят минут молчала. На следующий сеанс не пошла.

— Но ты знаешь, о чем молчала?

— Конечно, знаю. Я об этом все время молчу.

Я не спросил, о чем. Просто держал паузу. Воцарилось молчание. Душная тишина на большой высоте стала давить и на меня.

К счастью, объявили ее фильм. Она взяла пульт, включила звук.

Я поднялся на ноги.

— Но ты же хотел посмотреть мои книги? Русские здесь, а твои любимые покетбэки в спальне…

— В другой раз, — сказал я, не без чувства вины оставляя ее наедине с телевизором.

Был август. Вокруг «Арабеллы» стоял такой палящий зной, что все теряло смысл. Пустыня Сахара. Конечно, в теории я знал,

что смысл — когда-нибудь и хоть какой-нибудь — вернется, но в данный момент полной расплавленности мозгов надежды на это не было.

Прямо передо мной со стороны отеля «Шератон», растягиваясь на всю ширину ослепительно-сизой Арабеллаштрассе, возникла передвижная цепочка шествия. Целый гарем черных фигур, тотально-черных, включая лица под наложенными масками, — семенящих за ослепительно-белым мегафалло-сом.

При ближайшем рассмотрении маски под чадрами оказались медными. С узором из набитого пунктира.

В прорезях сверкали глаза, одна из пар которых оказалась бледно-голубой.

Якобы интеллигентная советская манера в гостях смотреть книги для французского человека есть моветон. И это понятно. Дай посмотреть, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. В Америке по формулярам публичных библиотек серийных убийц находят. Или по заказам «книга — почтой»?

И все же я не выдержал.

Воспользовался, как ее болезнью, так и приглашением.

Сначала Летиция волновалась. Ориентировала меня из кресла. Но потом монотонность действий книжного червя усыпила настороженность, она затушила сигарету и с головой ушла в вязанье.

«Русский» стеллаж в гостиной представлял собой старомодную систему полок с кронштейнами, которые крепились к железным рейкам, которые, сказала Летиция, привинтил к бетону «Арабеллы» еще Поленов. Здесь была выставлена русская литература эмигрантских издательств. За двумя-тремя вычетами все эти книги стояли дома и у меня.

— А знаешь, — сказал я, листая первоиздание «Доктора Живаго», — что сделал твой Поленов? Среди прочего?

— Что еще?

— Передал в ГБ список советских граждан, в адреса которых ЦРУ посылало всю эту литературу. Можно себе представить, какой фронт работ открылся для Пятого управления. Русский патриот… — Я успел сдержаться и не добавить: «Сволочь!» — Ты не знала?

— Нет.

— Он что, так любил свою Советскую Родину?

— Не помню, чтобы Ник на эту тему говорил… Нет, говорил! Говорил. И даже часто…

— Что?

— «Где водка, там и родина».

— Да уж… Как раз водки на родине его не оказалось.

Нет, я не злорадствовал, я просто имел в виду иронию, нет даже не иронию, а какое-то глумление судьбы над бедным агентом-алкоголиком, вернувшимся в Москву в разгар Кремлевского антиалкогольного делириума. Не говоря уже о тотальном коллапсе, с неумолимой логикой за этим происшедшим. Кто знает? Была бы водка, может, был бы и Союз.

— Он просто шутил. Ник не был циником.

— Конечно, нет. Он был агентом.

— Не при мне, — возразила Летиция. — Если и стал, то при этой своей…

— Ну да, конечно. — Я помнил представленную мне пунктиром версию их отношений, которая, возможно, и убедила шефа безопасности Фроста. — При тебе был просто пылкий московский паренек.

— А уж в этом с ним никто не сравнится.

— В чем, в пылкости?

— Ник — самая большая любовь моей жизни, — сказала она, как ампутировала.

Заткнувшись на темы жизни, я вернулся к безопасному вторичному сырью.

Антисоветчина на полках была здесь не сплошная, а с неожиданными вкраплениями в виде безусловных советских раритетов бурных 60-х. «Струна»… «Треугольная груша» — с автографом. Размашистым фломастером, который выездной Вознесенский и ввел в союзписательскую моду, когда кружку фломастеров держал при себе каждый начинающий авангардист… Летиции он изобразил и про очи-озера, и Ваш баварский академик… Ну, да. Ведь местный член… «Нежность»: Душа зальделая все ледяней, что я наделала с душой своей…

Подростком в Союзе я многое бы отдал за эти книжки, которые западная девушка свободно покупала в «Глобе», парижском магазине советской книги, где дефицитов нет. Поэзии — и русской, и французской — было неожиданно много, но только до определенного момента, когда Летиция, покинув Францию, стала покупать в Германии американские покетбэки.

Летиция, которая, не отрываясь от вязанья, вела свой акустический мониторинг, подняла голову, и я приостановился в ожидании (палец указует на приоткрытую дверь спальни, брови подняты…)

Она кивнула.

Вступив, я удивился размерам будуара. Жить в «Арабелле», чтобы спать в пенале? Какие-то медикаменты на тумбочке в изголовье кровати, которая оставалась аскетичной, несмотря на

пончо и рецидивы инфантильности в виде мягких игрушек: Медведь там… Собака… Обезьянка. В ее-то возрасте? Или правда, что детство не проходит?

Но литература здесь совсем не детская. Не знаю, чего я ожидал. Классику? *For Whom the Bell Tolls?* Вперемешку с Эрикой Ионг и Мэрилин Френч? Но лишь только глаза заскользили по названиям, как стало понятно, почему литературу эту она не афиширует. Почему так долго меня сюда не допускала. Никакой беллетристики, тем паче романтической, здесь не было. Царил беспощадный факт. Красный террор. ЧК-ГПУ-НКВД. Гестапо. Вторая мировая. СС. Холокост. Нюрнбергский процесс.

Разборные стеллажи из «Икеи» оставляли такой узкий проход, что, опустившись на корточки перед нижними полками, спиной я уперся в железную раму кровати. Холодная война. КГБ/ЦРУ. Монографии, исследования. Ален Даллес. Полковник Пеньковский. Мемуары «дефекторов»…

— Скажи, а Ник…

— Что?

— Ник, — возвысил я голос, чтобы быть услышанным в гостиной, — он читал все эти книжки?

— Ник предпочитал читать по-русски.

— Почему?

— Ограниченный английский.

— Херовый, значит, был шпион.

— Как ты сказал?

Я повторил.

— Ну, какой он шпион….

— А кто же?

Ответа не последовало, и я вернулся к корешкам, морщинистым от сгибов. Второстепенные игроки были представлены здесь тоже: разведки французская, испанская, израильская. Американская мафия. Никогда не видел сразу столько книг по убийству братьев Кеннеди, но больше, конечно, по Джону Ф. Буквально десятки книг. Доклад комиссии Уоррена, конечно… Преступность. ФБР. Серийные убийцы. Начиная с бостонского душителя. На каждого по книжке, и не по одной. По Теду Банди — целых пять. Специализация красавчика? Промышлял по общежитиям. Головы студенткам расшибал. Бейсбольными битами.

Не знаю, как это удается ей, но, даже обложившись мягкими игрушками, я бы не смог заснуть на расстоянии руки от всего этого.

Возложив руки на ее кровать, я запрокинулся. В целом я был очень впечатлен. Я знал, что она окончила лицей, прошла во

Франции «свои университеты», но такого уровня эрудиции все же не ожидал. В области, конечно, специфической. Новейшей истории Зла. Нет, человек недаром работал в отделе новостей. Причем, не скользила по поверхности. Скрупулезно входила в детали, отыскивая дьявола. Прорабатывая зло: подчеркивания в тексте, заметки на полях, разноцветные наклейки. Будто в полной тайне от всех готовилась к какой-то большой работе. Необъятной, как энциклопедия, название которой напрашивалось само собой: «УжасXX-го века».

Я прищурился. Полиграфическая пестрота нависающей стены книг превратилась в черно-красный монолит. Определенно он испускал пульсацию. Волны. *Wibs.* Сердце, во всяком случае, билось учащенно. Я вспомнил, как впервые попал на пляс Пигаль в порномагазин. Здесь ажиотаж был не от Эроса, ровно наоборот. Но было так же стыдновато. Не столько по поводу себя, дорвавшегося до табу, сколько за человека, посредством себя познаваемого. То есть — как такового. За человеческую природу.

Интересно, отразилось ли все это на моем лице? Мне не хотелось быть прочитанным. Преодолев импульс бежать, я продолжил изучение будуарной сей библиотеки.

Покетбэки имели тенденцию слипаться, и вставлять обратно было их непросто.

Я стал таким заядлым читателем ее библиотеки, что она стала проявлять знаки ревности, и как-то до моего слуха донеслось:

— Еще начитаешься! когда меня не станет…

— То есть? — Вернувшись в гостиную, я сел в кресло rattan, плетеное из полосок экзотической пальмы, у нее был такой, покрытый темным лаком набор, включавший овальный столик со стеклянной поверхностью, на который я выложил очередную стопку книг. — Летиция?

— Что?

— Что это значит?

— Что библиотеку я завещаю тебе.

— Собираешься умирать?

Она молчала, не глядя на меня, двигая спицами. — А ради чего продолжать все это?

All is not as it seems. Все не так, как представляется… В первом в мире Музее шпионажа в Вашингтоне, который возникнет, когда победителям в холодной покажется, что история остановилась, это один из базовых принципов, которыми развлекают посетителя. Не то, что бы я этого принципа не знал в период отношений с Летицией. Но я его игнорировал, будучи персоналистом. Довольствовался тем образом, который она мне

предложила. С какой стати мне было подвергать его сомнению? Для этого есть профессионалы паранойи, для которых и в корпорации имелась специальная должность. Мистер Фрост истолковал бы этот негромкий крик души по-своему, а я понял просто. На «первом уровне». Что Летиция имеет в виду существование, которое наступило после катастрофы ее Большой и Последней Любви, воплощенной в Поленове, взявшем себе в жены не ее, а 19-летнюю девчонку. Можно понять. Из бури страстей выбросило в скуку. Из разделенное™ в одиночество. Специальный момент был и в ретроспективном ударе, нанесенном бывшим любовником, который, сбросив маску, признался в работе на ГБ. Тем самым и экзистанс Летиции оказался «под колпаком». И все это на фоне постепенного скатывания в менопаузу. Суммируя все это, нельзя было не признать, что этой Пенелопе, всецело ушедшей в вязание, ждать некого. Глядя на это ее занятие, которое, созидая, кололо и разрывало нечто «на тонком плане», я предложил ей вариант:

— Ради твоих американских племянников.

— Это? Это все по инерции, — поскольку, мол, племянники выросли, да и не были нужны им свитера на юге США. Это было нужно ей. Род медитации…

Она отложила вязание, и в момент поворота я заметил, что перед моим приходом Летиция снова опоясалась эластичным поясом, который неизменно надевала на работу; да, плоть грустна, подумал я, ну и что? Еще я подумал, что визиты мои для нее, возможно, слишком трудоемки. Тем не менее, я воскликнул, как бы спохватываясь, что забыл о самом главном аргументе в пользу бытия:

— А секс? Летиция? Ведь есть же еще секс?

Она посмотрела на меня, как на дурачка, но мне показалось, что в глазах ее мелькнула искра интереса.

— Я ушла из Большого секса. Как говорит твой друг.

— Есть Маленький, — возразил я. — Который мы тоже произносим с прописной.

— Ушла! И точка.

— Но ты не можешь! Любви все возрасты покорны. Что хотел сказать Пушкин? Что секс кончается только вместе с человеком. Хотя русский некрофил, — усмехнулся я (и сейчас мне кажется, что над самим собой), — оспаривает и это. Лежит милая в гробу… Частушку помнишь? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица.

— Я уже вытерпела все, что можно. И чего нельзя.

— Но замужем не была.

— Не была.

— А как насчет того, чтобы выйти? — И в ответ на презрительно-снисходительный взгляд: — Нет, я серьезно?

Серьезным во всем этом было одно. Мое глубокое убеждение в том, что есть палочка-выручалочка, которая работает. Еще в ранней юности я подчеркнул в «Дневнике» Толстого мысль, которая могла быть выводом из положения Главного материалиста: Бытие определяет сознание. В ситуации, когда сознание начинает покушаться на бытие, надо убедить человека в том, что речь идет всего лишь об одной из форм этого бытия, которое вполне может быть продолжено, должно продолжаться, что прекрасно понимает змея, сбрасывая свой старый чехол. Радикальная смена формы бытия.

— Может быть, скажешь мне и за кого?

— Скажу. Боря Бает.

— Это который лежит в кранкенхаузе с гепатитом?

— Он тебе всегда был симпатичен.

— Но он же мальчик?

— Относительный. Сколько было Поленову, когда ты его впервые увидела?

— В шестьдесят седьмом? Двадцать три.

— А этому двадцать пять.

— Двадцать пять? Я в матери ему гожусь.

— Вот и будешь проявлять свое материнское начало. В законном браке.

— Но Борю интересуют только мальчики.

Тут она была права. И однако, мы с ней вместе делали передачу по первой Бориной любви, по взаимной их переписке с Ветой, которую Боря рекомендовал мне в авторы. Каждый из них начитывал в студии свою часть писем, и все это записывала Летиция, как режиссер.

— Ты же знаешь, что так было не всегда. И женат он был на девушке.

— Что, на этой спесивой Вете?

— Нет, на девушке по фамилии Канторович. Она ушла в православный монастырь, а он сменил ориентацию. Но с вами у него свой опыт есть. Так что все будет зависеть от тебя. А Боря совсем не мизогин. Насколько я знаю, свою маму он обожествляет.

Возмущенная ошеломленность Летиции сменилось трезвостью:

— Боря об этом знает?

— Как он может знать? Идея только сейчас возникла. Но узнает, конечно, если согласишься. Можешь для начала послать ему букет в больницу.

— Какие цветы он любит?

— Не знаю. Кошек Боря любит. Гладиолусы пошли.

— Но ему-то какой в том интерес?

— Остаться на Западе. В любом качестве. Почему не в качестве супруга француженки?

Один из ярких представителей новейшего поколения, которых скоро в Москве назовут восьмидерастами, Боря Бает стал вирусной жертвой собственной ненасытности, проявляемой в писсуарах публичных туалетов баварской столицы, известной своей в этом смысле толерантностью (за вычетом разве что двенадцати лет Темных Времен).

Юный Бает, голубой принц Петрозаводска, был одним из первых носителей советского паспорта, которые стали открыто работать на корпорацию, давать по телефону материалы из Советского Союза. Бает знал, что корпорация, которая всегда бравировала светской либеральностью, в своей кадровой политике стоит за равные права меньшинств. Он ничем не рисковал, открыто порывая со старомодным образом «клозетного гея». Что же касается необузданности, то это сочеталось в юноше с рафинированной интеллигентностью и профессиональной дисциплиной.

Мальчик был искренне предан своему начальнику по фамилии Литвак.

Кажется, еще вчера Литвак, космополит и маргинальный журналист, специализирующийся по горячим точкам, обивал пороги корпорации и хватался за всех, приглашая к себе в Рим. Мне поручили помочь ему написать аналитическую статью — на пробу. Но Литвака сразу стала распирать неожиданная мания величия в форме замысла романа под названием «Дезертир». Причем, романа философского. В духе «Постороннего», как я домыслил, потому что русский язык у нашего фриланса практически отсутствовал. На бытовом уровне понять его было можно, но Литвак претендовал на постижение природы современного человека. Дезертирство, как ключ ко всему. С этого знакомство и началось — с мучительного втискивания смутно-великого замысла в прокрустов формат двух-трехстраничной заметки. В Рим я тоже был приглашен, но, естественно, я не поехал. Но вскоре Литвак приехал оттуда сам с семьей. Времени с тех пор прошло немного, но давным-давно исчез тот скромный, подкупающий застенчивостью паренек с харизматическим опытом риска. Литвак, которому американцы дали карт-бланш, стал создателем новой информационной программы с опорой на стрингеров внутри Союза, безраздельным хозяином и ведущим, основав внутри корпорации, по сути, свою собственную

организацию, продукт которой он представлял ежевечерне в прайм-тайм, начиная, казалось бы, совершенно невозможным: «У микрофона я: Леон Литвак». Смеялись, но смирялись. Русский язык к нему пришел к Леону, казалось, сам собой. Изменился и внешний его облик. На передний план вышла наступательная маскулинность. Стали бросаться в глаза ботинки, которые были намного больше, чем того требовали пропорции. Был мальчик, стал мужлан. Сообщавший подчиненным чувство защищенности. Отец солдатам.

Естественно, Бает его любил. Вынужденно платонически, поскольку имел дело с хемингоидом — минус антисемитизм и гомофобия. Я наблюдал однажды, когда хозяйка дома была в роддоме, как трепетно он гладил иссиня-черные кудри Лит-вака, положив себе на колени большую голову босса, внезапно отключившегося, выпустившего (при наливании) на стеклянный столик длинногорлую бутылку граппы, из которой хлынуло, а потом еще продолжительно струилось на пол, на ковровое покрытие; но тут подошел я и утвердил то, что еще осталось, вертикально.

— А что? — отсмеялся Литвак. — Союз возможный. Если Бает выживет, устроим им смотрины.

Летиция не говорила ни «нет», ни «да», но сама идея демонстрировала свою живительную силу. Она «выздоровела»: обрела ноги, отказалась от своих подпорок, вышла из депрессии, вернулась на работу. Пока юный организм боролся за жизнь, она изучила немецкую литературу по гепатитам и пришла к выводу, что у Баста есть шанс. Теперь она прорабатывала «все написанное» больным, который был не только журналист.

— А знаешь? — Летиция как бы удивлялась. — Борис по-настоящему талантлив. Ему бы писать, а не работать.

— Он от работы не страдает.

— Как ты думаешь: он может быть шпионом?

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Второго шпиона не переживу, — ответила Летиция.

Я понял, что она готова под венец.

Радости от этого почему-то я не испытал. Напротив. Почувствовал себя гнусным кукловодом. И это при том, что главной движущей силой во всем этом сводничестве было чувство вины за то, что, возможно, отношусь к своему техническому сотруднику я слишком инструментально.

Ирония всего этого, как говорится, от меня не ускользнула. Я решил не форсировать событий.

Бает вышел из больницы бледный, но полный сил. Мальчик себе на уме, он тоже не сказал ни «да», ни «нет». Смотрины,

которые начались скромной выпивкой в фойе ресторана *Rive Droite* на Мауэркирхенштрассе, вылились в целую серию ужинов в квартале Арабелла-парк. Было впечатление, что встречное намерение набирает сил. Зашло так далеко, что обсуждалось уже, где Летиция и Борис будут жить. Французский язык Борису лучше всего будет изучать по учебнику Може (рекомендация моей жены Констанс). «Ну что, ситуайен Бает?» — говорил Литвак и смеялся. Предположительная брачная пара как будто смирялась с тем, что мы с Литваком предначертали. Бает еще не опомнился от благополучного возвращения с того света, он пил только минеральную воду, бросал сигареты недокуренными и до половины, был кроток, уважителен. Внимательно выслушивал даже полный бред со стороны дам. Медленно при этом кивая. Почему-то все стали считать, что Бает готов вернуться к своим гетеросексуальным временам. Констанс с ее манерой опережать события даже стала заблаговременно его жалеть, как сдавшегося бунтаря (тем более, что к Летиции особой симпатии никогда не проявляла, не опускаясь, впрочем, и до ревности к пожилой *nana)*.

Сам Бает отмалчивался, ничего не обещал. Только иногда задерживал фиалковый свой взгляд на огнях «Арабеллы», светивших сквозь витринные стекла того или иного заведения, как огромный, но поставленный на вечный прикол океанский лайнер.

Кончилось донельзя все печально. В ванной у Летиции разбилось зеркало.

Наутро Баста нашли в Английском парке.

А Литвак уехал покорять Москву.

Мы начали с ней работать еще в период глушения (отмененного только 30 ноября 1988), и за пять лет, говоря объективно, с нами совершилась невероятная метаморфоза. Абсурдные сизифы «психологической войны», мы могли, как наши предшественники, дотянуть лямку до пенсии и передать эстафету очередному поколению — тем самым восьмидера-стам. Однако случилось то, что произошло. Чудище обло, озорно и лайай в один прекрасный момент исчезло. Просто испарилось, как будто его не было. Мы оказались среди победителей. Пусть все было иллюзией — заокеанская родня, замужество. Но был последний аргумент:

— А работа? Тоже, по-твоему, инерция?

— Тоже.

— Как ты можешь так говорить? Ведь за эти годы ты увидела всю современную литературу, сменившую соцреализм. Тебе напомнить имена? Что? Конечно, не Ален Делоны, но каждый день я представлял тебе новых и новых деятелей культуры, по

две, по три персоны на день, и вспомни, как, например, тебе понравился Колобокин…

— Твой Говноед? Двух слов который не мог связать?

— А становится ведущим российским писателем, одним из. И я не говорю о политических результатах. Вот они… — Указательный жест за спину, в сторону телевизора с выключенным звуком. — То, о чем мечтали поколения эмигрантов, начиная с твоего отца-белогвардейца.

— Да, было интересно. Но я никогда не думала, — сказала она, щелкая старомодным серебряным «данхиллом», прикуривая очередную сигарету, выпуская дым по направлению ко мне (в чем, собственно, и заключалось наше с ней общение: во взаимном обкуривании). — Я никогда не ожидала, что все так быстро рухнет.

— Не в этом ли и была сверхзадача?

— Чья, моя?

— А в том числе.

— Советы мне ничего плохого не сделали.

— Ты в этом уверена? Начать с того, что отняли у твоего отца отчизну.

— Ха. Самое маленькое, что надо было сделать со Степаном…

Летиция молвила это как бы для себя, себе под нос, под красивый, идеально симметричный вырез ноздрей, выпускающих дым английской сигареты.

— Что ты имеешь в виду?

— Что не надо его жалеть, Степана. Ему во Франции было очень неплохо. Тем более, что Миттеран отменил гильотину.

— Вопреки воле своего гуманного народа.

— Проклятый социалист.

— Что с тобой, Летиция? Мне всегда казалось, что ты против смертной казни. Особенно в этой форме крайнего шовинизма.

— Шовинизм или нет, но я бы не пожалела, если бы Степану отрубили голову.

— *Отцу?*

Летиция прикурила от своего окурка следующую сигарету, готовясь погрузиться в привычную немоту, но я был настолько шокирован, что решился на вопрос:

— За что?

Молчание.

— А как он умер?

— Кто?

— Mais ton papa.

Инфернально она расхохоталась:

— Кто сказал, что умер?

Все это происходило в пивной столице мира, где потребность напиться вдрызг, не прибегая к сорокаградусным продуктам, было осуществить непросто. На этот раз, покинув Летицию много позже обычного, я пошел не домой, а в кафе на Арабелла-парк. Сидел на том же месте, где совсем недавно беглый ее жених, смотрел на отель, горящий сотнями окон и сотнями же окон темнеющий, курил и пил антистрессовое пиво, чище которого в этом мире не существует вот уже с 1516 года, хотя, конечно бы, предпочел сейчас самое плохое, но французское вино. Хмель, тем не менее, работал, и вскоре я поймал себя на бормотанье: та-та-татата… я с детства… нет: и так как с малых детских лет… я ранен женской долей. И путь поэта — только след путей Ее, *не боле*…

Домой мне не хотелось. Потому что я знал, что моя дочь, многоязычный *Euro kid,* самим фактом своего безмятежного существования вернет меня к этому неразрешимому ужасу, вот уж действительно: портативному апокалипсису.

Оглядываясь назад, я вспоминал детали нашего общения с Летицией и думал: непростительно!

Сотрудница однажды чуть в обморок не упала, когда я дал прочитать ей в мониторинге о том, какой размах в постсоветской Москве приняло обслуживание нуворишей малолетками. Образчик отвязанной «новой журналистики», исполненный в модном стиле «особого цинизма», повествовал, как десятилетняя в знак доказательства своей дееспособности потенциальному клиенту прямо в ресторане загнала в себя банан, схваченный со столика, ломящегося от жратвы. Не беспризорница, подчеркивал автор, а ответственная девочка, содержащая безработную мамашу, которая моет ее в ванне, удивленно приговаривая: «Ну, разработали тебя!..»

Как я мог не разглядеть симптомы ПТС, посттравматическо-го синдрома, который напрасно резервируют для солдат, побывавших во Вьетнаме или Афганистане: я родом из детства. Этого достаточно.

Оставалось только дивиться своей слепоте.

Продолжая накачиваться пивом, я вспомнил, что одну из самых первых «Лолит» в Москву привез писатель Казаков, которого обсуждал, а затем, раскаляясь, стал осуждать его главный союзписательский приятель с фамилией тоже на — *ов.*

— Твой Юрий Палыч за формальным мастерством не видит главного. Мерзавец растлевает, понимаешь, девочку! — Ветеран войны, приятель Казакова стал задыхаться и неожиданно резюмировал:

— Я бы его расстрелял.

— Кого?

— Набокова. Собственноручно!

Пребывая в шоке, я — эстет девятнадцати лет — не мог предвидеть, что настанет время, когда на просвещенном Западе тот сталинист будет понят — и не кем-нибудь, а мной самим. Если не в карающем пафосе возмездия, то в общем чувстве. Если не по отношению к автору «Лолиты» персонально, то по отношению к реальным гумберт гумбертам, борьба с которыми, по американской инициативе, разворачивалась по обе стороны Атлантики.

Что же… думал я. Всемирное насилие над детьми — одна из самых жгучих тайн уходящего века. И Америка, поднявшая тему, только за это будет благословлена из гроба Достоевским. И его, и Фрейда автор «Лолиты», как известно, терпеть не мог. Между тем Федор Михайлович (уже не говоря о Фрейде) все знал о «красном паучке», который укусил и самого автора главы «У Тихона», и его Ставрогина — предтечу Гумберта Гумберта — и в целом русский мир, которому оставалось только частушечно причитать после того, как не стало бессмертия души, а стало все возможно: «Вы кого же ебитё, ведь оно совсем дитё?»

Этот паучок, выражаясь ненаучными словами Достоевского, «жестокого сладострастия» применительно к детям провиден гениально: именно революция сбила цепи с монстра-педофила. Гражданская война (включая царевича и великих княжен), беспризорщина, все педэксперименты советской власти, от Макаренко и до детей врагов народа, от массовых расстрелов детей за колоски и до детей-героев-Советского-Союза, не забывая о семье и школе — нет! еще не написан этот всеобщий ГУЛАГ детей, где каждая слезинка, за которую нет прощения, слилась в катакомбный океан страдания. А из подростков, напоминал Федор Михайлович, слагаются поколения. Из эбьюзированных (от *abuse* — злоупотреблять) поколений слагаются психопатологические. Из отроковиц и отроков, которых злоупотребили — употребили во зло.

Что касается Гумберта Гумберта, то сам же Набоков его приговорил, до этого умертвив и Лолиту, а в ее чреве и ее девочку. Но, в конце концов, это только литература, пусть и экстремальная — и Ставрогин, и Лолита. Но вот вам жизнь, в которой дочь заменила мать так, что друзья дома не могли нарадоваться. Семейный был секрет. И жертва хранила его едва ли не ревностней, чем папа, которого в середине 50-х «Лолита» возмутила, как и всю русскую эмиграцию. Однако не Набоков растлевал малолеток.

Еще я думал, что жажда расстрела происходит, возможно, от того же употребления во зло, пережитого в детстве. Если бы удалось возникнуть и стать на ноги хоть одному поколению, не травмированному злом, то…

Но это было уже из области нетрезвых утопий.

О московском эпизоде моей юности я Летиции не рассказал, но, уходя тогда от нее, выговорившейся, облегчившей душу, не уронившей при этом ни слезинки, дал единственный, как мне тогда казалось, работающий совет, не столько писательский, сколько терапевтический:

— Пиши «Анти-Лолиту»!

Поздней осенью 199^2 года, вернувшись из Парижа, я вышел на работу. Дверь к себе я оставил открытой, и поэтому за кадром внимания, направленного на монитор, зарегистрировал, что в директорскую напротив прихромал пожилой немец Тодт, временно исполняющий обязанности начальника персонального отдела. Когда-то в Париже я получил свой пожизненный контракт за его подписью. Потом его сменили другие люди, но когда последний по времени кадровик Стив заболел СПИДом, Тодт был отозван с пенсии, и все вернулось на круги своя.

Пробыв в директорской какое-то время, Тодт появился снова, но вместо того, чтобы свернуть направо в коридор, возник в моем проеме со словами: «Сидите-сидите, господин Андерс…»

Перед путешествием по коридорам, пиджак он обычно оставлял на спинке стула, и, как обычно, рубашка на нем была неглаженная, но при галстуке. При черном. Дешевый, слегка вздувшийся от внутреннего воздуха, этот галстук на резинке Тодт, видимо, держал у себя в кабинете.

И без повода не надевал.

Я стоял, поднявшись и даже выйдя из-за стола навстречу скорбной вести. Возложив для опоры руку на монитор; у меня был вертикальный, на котором помещалась целая страница с текстом программы, и сегодня в эфир пойдут материалы, подготовленные ее руками с заклеенными порезами от бритвы, вернее, от специального орудия для резки, похожей на половинку опасного лезвия, вправленного в металлическую держалку с выбитым *Made in USA*.

— Но как это случилось?

— В больнице.

Последний раз мы виделись в ее любимом ориентальном ресторане, куда Летиция пригласила меня с женой и дочерью. Была не только здорова, но в приподнятом настроении перед поездкой в Австрию к старой подруге. — Но каким же образом?

Он поднял седые брови, давая понять, что столь же

скандализован, как сейчас буду и я:

— Похоже, что самоубийство.

— Но… как можно покончить с собой в мюнхенской больнице? Выбросилась из окна?

Он отрицательно покачал седым ежиком. — Таблетки… Расследование покажет, откуда были в таком количестве. На данный момент ясно только одно… — Тодт переместил тяжесть на левую ногу и сунул руку в карман брюк. — Наследником она выбрала вас.

— Меня?

— Видимо, родственников нет.

— Сестра в Америке, — сказал я с напором, почти обиженный за Летицию, которая обклеила все стены фотографиями в знак того, что помнит свое родство, но все равно не сумела донести сей факт верхам, неравнодушие которых она, бедная, переоценивала. Мы все тут только в инструментальной роли.

— Ах, вот как. Сестра?

— Родная!

— И у вас есть адрес, по которому с ней можно связаться?

— Нет, но, наверное, можно найти.

Брелок зацепился внутри у него в кармане, и Тодт его высвободил, блеснула золотая буква «А» в венке:

— Во всяком случае, позвольте мне официально исполнить последнюю волю госпожи Дедерефф…

Он выждал на случай, вдруг я захочу взять ключ у него из руки, а потом положил на край моего офисного стола, на зафиксированную, а в принципе подвижную рейку со щеточкой по всей длине, в которую пропущены были провода моего служебного «макинтоша».

Ключ этот я знал наощупь. Летиция, можно сказать, мне его навязла, чтобы не вставать лишний раз к двери на своих дюралюминиевых опорах.

«Анти-Лолита»?

Она заявила, что, если и надумает, то писать будет по-французски. Конечно. Работает только материнский язык. Много раз тогда пришлось мне подчеркнуть, что речь не об изящной словесности. Что, конечно, мы пошлем в какое-нибудь большое парижское издательство, где есть серия *Temoignage vecu,* Пережитое свидетельство. Но на данной стадии лучше об этом не думать. Ни о чем не думать, а писать, как пишется.

Рядом с ней на табуретке в «Арабелле» вместо осточертевшего вязанья появились тетради — старые, пятидесятых годов, такие твердо-бордовые, с тиснеными углами большого, французского формата, что меня невольно охватила

ностальгия, хотя сам я в Париж попал только в конце 70-х, когда эти *carnets* уже вышли из моды и попадались только на блошиных рынках.

— *Mon journal intime…*

Ее французские дневники лежали на виду в тот день, когда после визита немца в черном галстуке, я закончил передачу и, спеша, пока светло, отправился в «Арабеллу».

Все было, как при ней. В порядке. Те же низкие потолки, то же — не чувство, но предощущение удушья. Приоткрыв дверь гостиной, со стекла которой я сорвал лист бумаги, адресованный Летицией *To whom it may concern, я* стоял на пороге. Отставив руку так, чтобы скотч, отклеенный от стекла, был подальше от кожи. Она здесь была, Летиция. А теперь ее нет. Нет вообще, хотя неделю назад мы ехали в ее любимый ресторан, и она, нас пригласившая, сидела рядом с шофером впереди. Остался только фон, который целокупно и порознь смотрел на меня с укором.

Я сделал шаг, добрался до rattan. Пальмовая плетенка издала подо мной привычное шелестящее потрескивание.

Лист бумаги я положил на стекло стола. Рукой Летиции было написано (по-английски), что если с ней что-нибудь случится, просьба связаться с наследником и исполнителем ее воли… *my heir & will's executor…* Мое имя и фамилия. Оба моих телефона, рабочий и домашний.

Нет! Выбери кого-нибудь другого!

Я испытал протест, но кроткий, сознающий свое бессилие. Какие претензии мог я огласить перед тем, куда ушла Летиция?

Все тот же запах. Французские духи. Осевший, где только можно, никотин. И шерсть, проклятая шерсть. Запах бесцельности. Отсутствия смысла. Отчаяния. Внезапно в моей голове, которую до этого наполнял какой-то легкий, дальний и немного занудный звон, звонкий девчоночий голос произнес отчетливо и наступательно: «Я ее в шерсть!»

Что за глумление? Откуда? Напрягшись, я вспомнил. То был фрагмент считалки, детской порнографии, доведенный некогда до моего мальчишеского сведения, и рифмовался он с числительным Шесть: 6-е *шерсть!* Про другие цифры ничего непристойного не вспоминалось, но шерсть, раскатанная здесь повсюду, легко перекрывала даже Число Зверя, покровом которого, возможно, изначально и была, пока не смотали, оголив, в цивилизованные клубки мохера, который в Союзе, помнится, считался дефицитом….

Стараясь не задевать углы, я дошел до шторы, откинул ее, вызвав отвратительный звук, сдвинул влево привычно заедающую на нижних рейках алюминиево-стеклянную дверь и вышел на

воздух. Месяц был гнусный и на Западе. Ноябрь.

Я стоял, опершись на перила, созерцая далекое дно, выложенное бетонными плитами, влажно мерцающими в свете вывесок и фонарей, потом — свою руку с сигаретой, срез фильтра, заметно темнеющий с каждой затяжкой, как бы наливающийся ядом.

Сумерки сгущались, пора было уходить.

Я долистал ее тетради. Разочарование! Детский почерк становился все взрослей и взрослей, но ничего интимного не возникало. Песни. Стихотворения, обрамленные цветочками и вензелями. Изречения. Афоризмы. Мудрые мысли, среди которых мне то и дело попадалась странная для подростка тема…

Abimes, abimes, abimes. C'est lä le monde. Бездны, бездны, бездны. Вот это мир и есть (Victor Hugo).

L'abime appel I'abime. Бездна призывает бездну (David).

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. — И перевод на французский:

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. *Si tu plonges longtemps ton regard dans I'abime, l'abime te regardera aussi. Friedrich Nietzsche.* По ту сторону добра и зла.

Я не смог не произнести это вслух:

— Par-delä le bien et le mal…

Перед тем, как покинуть квартиру, я наклеил обратно на дверь гостиной распоряжение самоубийцы о моем новом статусе. Чтобы знали все те, у кого могла быть копия ключа.

На следующее утро я позвонил нашей секретарше Зденке, сказать, что на митинге не буду. Приехал в «Арабеллу» часам к 9, и, защелкнув дверь, понял, что не один. Кто-то был в спальне.

Первая мысль: Летиция вернулась. Нет, не воскресла: просто не умирала, а все, что произошло, просто какой-то *misunderstanding*.

Дверь была приоткрыта, я заглянул. Шторы там сдвинуты, и в полумраке я увидел женщину, стоящую на коленях в расстегнутом белом плаще: воротник поднят, кожаные полы лежат на полу, где стоят снятые туфли на высоких каблуках. «Летиция!» — рвался из меня оклик, но, к счастью, я его сдержал. Женщина оглянулась. Это была Содомка-Йост. Нет, она не встала мне навстречу. «Я сразу поняла, что это вы», — сказала она, объяснив, что у нее с давних времен дубликат ключа и возобновляя свое коленопреклоненное занятие. Тумбочка была распахнута, ящички выдвинуты. Она рылась в медикаментах,

читала наклейки, одни таблетки оставляла, другие бросала в пластиковый мешок одного из модных магазинов, опоясывающих «Арабеллу» на первом этаже. С точки зрения экзекьютора/душеприказчика, все это было несколько предосудительно. Приехать сюда спозаранку из Швабинга, где у этой хипповатой врачихи был кабинет, и это при том, что вставать рано не любит, и когда к ней приходишь сдавать кровь на анализ — натощак — неизменно принимает простоволосой, простогрудой и в халате. Чего-то опасалась она, Со-домка-Иост. Но, в конце концов, Летиция, сосватавшая ей меня, была не только пациенткой, но и подругой, которой, надо полагать, годами прописывалось нечто, чему лучше не значиться в описи брошенного на меня добра.

— Вы не хотите снять плащ?

Она поднялась, стоя в чулках, повернулась спиной, я пришел ей на помощь, и мы телесно соприкоснулись, пациент и доктор, но все равно в этом невольном татче было мне нечто извращенное, что повторилось, когда она вышла из спальни, и я снял ее плащ со стула и развернул его, держа за плечи. Вставляя руки, она рассказывала про обстоятельства, не вызывающие никаких сомнений («А могут быть?» — «Ну, вы же параноики. Учитывая, где работаете…»). Вернувшись из Австрии, Летиция убрала квартиру (довольно поверхностно, посуду не домыв…), написала и вывесила на видное место письмо *Тем, кого это может заинтересовать* (чтобы в случае чего звонили мне). Упаковала и как-то сумела спрятать на себе большое количество снотворного. (Откуда это количество? Приобретено по рецептам Содомки-Йост и накоплено?) За-планированность действий заставляет предположить, что, скорей всего, Летиция симулировала приступ, чтобы быть увезенной в больницу — вместе со своими таблетками. Особенно стараться не пришлось, в Мюнхене с этим не отказывают. В отдельной палате, на которую давала право ей медицинская страховка, Летиция провела ночь на субботу, потом субботу, потом ночь на воскресенье. Состояние мнимой больной было таково, что дежурная медсестра навещала ее в палате все реже и реже. В понедельник ее собирались выписать. Однако в воскресенье Летицию обнаружили мертвой. В промежуток между проверочными визитами она сумела проглотить достаточное количество таблеток. Добровольный уход из жизни. Полиция, конечно, хочет исключить сомнения на юо%. Может быть, и здесь появятся.

Сомнительных медикаментов набралось на целый пакет, пластмассово защелкнув который Содомка-Йост процокала к выходу: с виду состоятельная мюнхенская бюргерша, которую не заподозришь в изъятии улик.

Пересекаться с полицией в мои планы не входило. Я нашел посылочную картонку, обклеенную американскими орланами, списал с нее адрес и поехал на работу, в персональный отдел.

Летиция, которую назвали и довольно долго звали русским именем Зоя, родилась в Париже года за три до войны (как моя старшая сестра в Союзе, которая теперь, когда открылись границы, собирается меня навестить).

Вторая мировая во Франции началась на год раньше; и самый важный период развития личности с точки зрения будущего был отмечен двумя событиями, которые Летиция считала взаимосвязанными, находя второе более ужасным, чем первое: внезапное и необъяснимое исчезновение матери (в парижской облаве с общеизвестным теперь последующим маршрутом: пересылочный концлагерь в Дранси, а затем депортация на восток, что есть синоним смерти, будь то Терезин или же Освенцим). Пытался ли Степан искать свою жену, об этом ничего не известно. С ним все было в порядке. Бывшего белогвардейца, диакона русско-православного прихода, успевшего натурализоваться во Франции, никто не тронул. Все жалели вдовца с двумя детьми, которые во времена бедствий и лишений становятся в подобных случаях еще более обузой, особенно имея опасную мать, пусть и пропавшую. Доброхоты прятали девочек в провинции. Передавали из рук в руки. Тогда прятались все. Это было в порядке вещей. Уходили в платяные шкафы. На чердаки. Накрывались дверцами подполов. Уходили даже под землю, вытесняя оттуда мертвых. Летиция знала о подземной жизни в Париже, которая называлась метро и давала о себе знать теплым ветром из решеток. Но о том, что подземные существа водятся и в провинции, не подозревала до одного момента, когда однажды из земли, на которой она стояла, будучи в бархатной юбочке, но лишенная исподнего (которое, возможно, сушилось, выстиранное), а скорей всего исчезло в перемещениях и перепрятываниях по отдаленным департаментам, выскочил палец. Она закричала не от страха, а от внезапной боли, заодно с которой мгновенно возникло осознание того, что происходит. Только что нормальная, двуногая, она оказалась стоящей на трех ногах. В следующий момент ее собственные ноги отнялись, как лишние, отпали, как в страшном сне (по-французски — *le cochemard),* и девочка Зоя повисла между небом и землей на огромном, грязном, волосатом, мускулистом, вертикально торчащем из земли предплечье — будто ожившей руке гиганта-пролетария с плакатов, которые видела потом в Советском Союзе. Она сидела, как на велосипеде — убрав ноги с педалей перед тем, как скатиться под гору. Только в неподвижности. Двигалась

только боль. На которую ее насаживали, как перчаточную куклу перед каким-то жутким спектаклем. Но она была не кукла, а девочка. И она кричала. Потом вдруг увидела глаз. Огромный, будто раздувшийся от жадности. Одноглазое око самой земли. Вот именно! Циклоп!

Ноги вернулись, она соскочила — как курица с насеста.

Кровоточа, крича и плача, Зоя бежала без оглядки с места происшествия, столь же ужасного, сколь странного; бежала очень долго, и, превратившись на бегу в Летицию, продолжала безумный тот бег, можно сказать, всю жизнь — до того самого момента, когда решила последовать совету начать о себе книгу, в связи с чем столкнулась с трудностями и препятствиями, которых не могла предвидеть.

— Какая дефлорация……Не понимаешь, — подвела она итог. — У меня тогда вырвали сердце.

Американская родня, о которой я столько был наслышан, казалась мне мифом во спасение; и сейчас, в ресторане, меня не покидало чувство странности, охватившее при виде подсвеченной снизу, из напольного стекла, американской дамы в светлом брючном костюме и туфлях на высоких каблуках. Я сразу подумал — не из коллекции ли старшей сестры? Высоких каблуков Летиция панически боялась, но не могла отказать себе в приобретениях на случай.

Слово «дама», здесь употребляемое, не должно ввести вас в заблуждение. Никакого пресловутого класса, присущего старшей сестре, не было, да и не предвиделось в этой принарядившейся по случаю Европы американской женщине из глубинки. Но ожидалось сходство, которого не оказалось: разве что знакомые (но карие) глаза навыкате, что в ее случае было просто лупоглазостью, преувеличенной очками причудливо-серповидной формы по вернувшейся моде середины 50-х — с белесой оправой, усыпанной супермаркетовыми диамантами. В целом я нашел, что младшая сестра выглядит значительно старше старшей. Но, конечно, при этом Оделия была живой. Мы с Констанс выразили соболезнование, одновременно по-французски и по-английски, но Оделия, во-первых, заговорила по-русски, пусть и с сильным американским акцентом, а во-вторых, отказалась начинать свой первый европейский вечер с похоронных нот.

— Давайте где-нибудь присядем? Я бы вас пригласила туда, наверх, но там сейчас такой беспорядок…

— Вы в Мюнхене впервые?

— Ха! У меня такое впечатление, что я впервые в Европе. Я ведь здесь не была ни разу с тех пор, как мы с Фрэнком улетели из Парижа. А это было, дай Бог памяти, еще при Генерале!

Оделия предложила мне взять на себя инициативу, и я, переглянувшись с Констанс, решил не покидать «Арабеллу», где как раз на нашем уровне есть ресторан, который, по меньшей мере, не шокирует человека, родившегося и до восемнадцати лет прожившего все же во Франции.

— *Die… die…* Что это значит? Я же должна буду мужу написать?

— *Die Ente von Lehel.* «Лехельская утка».

— А Лехель? — уточнила она, несколько разочарованная неромантичностью названия.

— Квартал тут ближе к центру Мюнхена, где, видимо, они водились. Хотите утку?

— Ой, я даже не знаю! Никакого аппетита!

Но последовало и *confit,* и *consome* — в меню Оделия прекрасно разбиралась, и хотя для начала попросила кока-колу со льдом, перешла затем на сент-эмильон, в котором и осталась даже после того, как нам открыли вторую бутылку.

Корпорация, естественно, оплатила *roundtrip,* и Оделия прилетела мгновенно — насколько можно было осилить семнадцатичасовой трансатлантический маршрут Глубинка-Чикаго-Нью-Йорк-Лондон-Мюнхен. Бросая взгляды на необычных соседей-едоков [(из Саудовской Аравии: один мужской столик, три гаремно-женских)] Оделия рассказывала перипетии путешествия почти в пять тысяч миль, которому предшествовало то, о чем мы уже узнали: внезапное известие от господина с таким смешным акцентом, стремительный семейный совет с Фрэнки, он у меня все еще работает, а вечером с детьми, племянниками Летиции, и, хотя видели они свою *belle tante,* красавицу-тетушку только на фотографиях, но все решили единогласно: надо лететь! Буквально вытолкнули в Европу, обещав присмотреть за отцом, чтобы в ее отсутствие Фрэнки не увлекся фаст-фудом — ну и далее про холестерин, который Оделия называла, разумеется, «холестеролом»…

Констанс взяла на себя застольный разговор, а я пил, стараясь при этом не курить, и чем больше пил, тем глубже впадал в угрюмость, и не от дефицита никотина.

Я пытался представить, как они существовали в Париже *a trois.* Эта семья без мамы. Но на что я мог тут опереться? Только на фотографии. А на французских снимках 50-х — глянцевых и с фигурным обрезом — Летиция, то есть, еще Зоя, три дня назад покончившая с собой, была неизменно хорошо одетой (о, этот парижский шик!), всегда улыбалась, и отнюдь не криво, а так, что рассеивала даже тень сомнения в том, что недостаточно счастлива. Ничего не читалось. Как такое возможно? Когда

девочку сберегли во время оккупации только ради того, чтобы она заменила свою мать, а диакону жену. И эта, младшая, Оделия. Не подозревающая, что мне известна фамильная их тайна под названием «инцест». Выполняя обязанности своей матери, старшая, должно быть, думала, что тем самым защищает младшую. Все знающую, все понимающую, подрастающую во все более тревожном предвидении, что ей тоже придется заменять — но уже старшую сестру. Случилось это или нет? Покрыто мраком забвения. Во всяком случае, как только Оделии стукнуло пятнадцать, она выскочила за авиамеханика с американской военно-воздушной базы. Видимо, младшей тоже было, от чего бежать, и лучше всего — как можно дальше, *sauve qui peut*[4], хотя сама Оделия сейчас проводит мысль, что просто, как заповедано, последовала без оглядки за супругом задолго до того, когда де Голль в порядке своей стратегемы «Оборона по всем азимутам» прекратил военное присутствие Америки на территории «Гексагона».

Тем самым — что? Бросала старшую на полный произвол Степана. Не сознавать не могла. С одной стороны, нет в мире виноватых, с другой — куда же деться от такой вины? И облегчение, которое сейчас испытывает Оделия, есть чувство если не ложное, то всецело поверхностное. Ничто не кончается с исчезновением того, кого мы предали. Пусть даже имея на стороне самозащиты сам закон самосохранения, толкнувший к бегству в Америку.

Перед десертом пожилая младшая сестра поднялась в квартиру старшей, чтобы вернуться с бледно-желтой папкой тонкого картона, из которой стала выкладывать на скатерть фото спасенной за океаном жизни. От парного снимка, на котором она почти девочкой — от счастья глаза выскакивают! — прильнула к авиамеханику с лычками *US* и в пилотке набекрень — щека к щеке, ухо к уху, до той серии, где тоже она, но в которой совсем не узнать парижанку, зримо ставит на ноги своих новосветских детей, на нее непохожих, высоченных, тонкошеих, лопоухих — в черных мантиях и головных уборах выпускников хайскул. Долг исполнен. Вот, что хотела она сказать этой визуальной демонстрацией. Не для себя же, любимой, выживала?

Я расплатился, и мы расстались, довольные друг другом, а на следующий день ее привел ко мне херр Тодт — с просьбой показать рабочее место Летиции.

Мы шли коридорами, на нас бросали взгляды.

— Этот мистер… — сказала Оделия заговорщицки, как своему.

— Тодт?

— Он очень любезен.

— Оделия: вы налогоплательщица. В конце концов, на ваш трудовой доллар все это существует.

— Ах, вот как?

Дверь в комнату Летиции была открыта. Бросилась в глаза прореженность на стеллаже. Вот и *Большой Англо-русский* исчез. Мародерством, конечно, не назвать, но сотрудники не преминули подсуетиться. Я оставил Оделию и закрыл за собой дверь, чтобы она без комплексов могла забрать все, что ей было интересно. Как ни странно, ей было интересно все — или почти. Пришлось разыскивать картонку. Повторяя, что не хочет меня задерживать, Оделия переворачивала туда один выдвижной ящик за другим. Ничего предосудительного, тем более, что у Летиции был пунктик — канцелярские принадлежности. Игнорируя то, что бесплатно предлагает нам радиосклад, *Supply,* тратила кучу денег на все эти вспомогательные мелочи с лица, так сказать, необщим выраженьем. Уж не знаю, по какой причине. Инфантилизм? Врожденное чувство красоты?

— А это кто тут у неё?

Американская сестра из самого нижнего ящика достала застекленный снимок в черной железной рамке. Подписанный… Причем, обоими. В два, так сказать, автографа, над которыми чей-то профессиональный объектив выхватил для потомков жанровую сцену радиопроцесса бо-х годов XX века: младший сотрудник перенимает профессиональный опыт у старшего. С почтением наклонясь. Глядя в газету, куда старший, с лицом грубоватым и по известной причине несколько набрякшим, сдвинув брови, указует пальцем.

Вглядевшись, можно прочесть и заголовок:

НА СЛУЖБЕ У РЕАКЦИИ.

Диакон — чин нижайший, однако в иерархии священнослужителей. *Job description*[5] по этой специальности такой: наблюдать за тем, чтобы в церкви все было благообразно и по чину, указывать каждому место в храме, составлять отчеты о поведении и нравах верующих для представления епископу. По указанию епископа, диаконы распоряжаются церковным имуществом: раздают милостыню, заботятся о содержании сирот, вдов и вообще всех, на кого распространяются церковные пособия. Будучи помощником при богослужении, самостоятельно совершать они его не могут, поэтому должность в принципе необязательна.

Но был ли диаконом Степан? Может быть, сообразно ненависти за то, что он с ней сделал, Летиция повысила своего

отца в статусе, тогда как на самом деле был он не священно-, а просто церковнослужителем — иподиаконом, пономарем, псаломщиком, чтецом либо алтарником. Ясно одно. Такси он, как положено белогвардейцу, не водил. И не работал на заводах Рено или Андре Ситроэн. Ясно также, что в любом из перечисленных занятий по церкви был Степан авторитетным членом паствы, которую следом за младшей сестрой покинула и Зоя. Не самая мятежная девушка, порожденная русской эмиграцией. Но полный разрыв. Не только с данным приходом. Но и с верой отцов.

Бежать в Америку было необязательно. Зоя просто ушла из русскоязычной Франции.

И назвалась Летиция.

Laetitia.

[Letic'ia]

* * *

Как раз был период бунта девушек, смутно-непредвиденных, переменчиво-поверхностных, экзистенциально-загадочных, живущих *Au bout de souffle* — На краю дыхания. В этой обобщенной роли и приходится представлять себе Летицию, «твердых фактов» о том периоде не оставившей. Вряд ли в мир кино она попала «прямо с улицы», а если и так, то «улицу» надо понимать, как «большие магазины», Галери Лафайет, Прэнтан, где и поныне с выносных лотков торгуют юные парижанки, в свободное время бьющие копытцами в очередях на «кастинг». Она только усмехалась, когда я говорил: «Дай мне угадать… И тебя тоже открыл Роже Вадим?» — «Месье Племянникофф?» — «Что, — удивлялся я, — он тоже русский?» — «Роже Владимир Игоревич… Сын царского диломата». Из первой волны эмиграции возникло немало французских киноперсон, сознательно вуалирующих свои русские корни, но, несмотря на поразительную красоту и загадочный charme slave, славянский шарм, Летиция не стала Мариной Влади, хотя и оказалась причастной к большому французскому кино 50-60-х, попав в штатную свиту экранной сверхзвезды, которой самой еще не было тридцати: старше Летиции, но всего лишь года на три. Летиция стала ее доверенным лицом. Конечно, знала Алена. Конечно, он не пил одеколон. Знала всех, будучи формально секретаршей. Да. Свой кабинет… «Ну, расскажи про оргии», — приставал я, охочий до грязи, во время совместной работы по чистке (элиминации бесконечных советских «бэ» и «мэ» и прочего косноязычия агонизирующего тоталитаризма) и сокращению программных

материалов. Антенны, конечно, направлены были на Восток, но мне мерещился Париж. Большой экзистенциальный либертинаж. Эманации небожителей. Литры всосавшейся амброзии, дарующей бессмертие в модусе вечной юности. Предполагаемый реципиент, Летиция туманно улыбалась в своих наушниках (одновременно слушая советский бред). О, эта киногрязь тех олимпийских лет. Прах, пыль. Рассеявшийся по ветру.

Но как она оказалась здесь?

Если бы в Америке, другое дело. Но здесь? В пубелле?

Проделавшему тот же страшный путь самодепортации, мне было непонятно, как мог еще кто-то другой по своей воле бросить Париж? Тем более она, так баснословно начинавшая? И, боже мой, куда? По какому азимуту? Маршрутом с Гар де л'Эст — Восточного вокзала? Повторяя путь своей матери к небытию? Пусть не физическому. Но само место геопатологично. Прямо напротив нашего подрывного центра можно сесть на трамвай и доехать до Дахау.

Только не надо мне про деньги и про защищенность. Это все ценности совка, пусть даже совка глобального, а тут человек иной природы (кстати, сразу невзлюбивший, как только услышала в наушниках из материала моего нового московского автора, поэтессы Щ**, - куда! всем существом возненавидевший этот действительно уродливый неологизм «совок», значение которого я ей объяснил). Нет таких денег и бенефитов, которые могли бы компенсировать утрату *Liberte.* Очеловеченной свободы во французском варианте. Вон актер Квадратный — даже он, угрюмо-прокуренный нелюдим, жена которого, как потерянная русская офелия, собирала темнокрасный кизил с запылено-тротуарных кустов на Херрком-мерплатц и вдоль Бюлов-штрассе… Года не отъездил по баварской столице на своей любимой жестянке «Эр-сэнк», «Рено-5», как осознал роковую ошибку: бросил благополучное социальное государство непробиваемо-толстых «мерседесов» и вернулся. Периодически возвращаюсь и я, продлевающий свой *titre de voyage,* сохраняющий парижский адрес, по которому давно уже физически отсутствую. Почему же она, француженка, даже не ездит к себе на родину — ведь не «вторую»? изначальную?

В этом была своя, завернутая в тайну. Так это и клубилось во мне игрой воображения по двум-трем намекам: некий подавленный скандал, высылка не высылка, но чисто парижский — неформальный, ˆформализуемый и, скорее всего, устный совет, данный ей в неких «коридорах власти» — как можно дольше не показываться на территории. *Le territoire?* Но территорию Гексагона охраняет не явная полиция, а тайная? Хочет ли она

сказать, что у нее были проблемы с *DST?*

Улыбаясь, как Мона Лиза туристам, Летиция никак всего этого не проясняла — ни того, почему бросила свою *BB* с Парижем вместе, ни того, почему так старательно держалась от Франции подальше: даже сувениров не хотела никаких, когда я уезжал в Париж. Так и оставляя мне все это в виде постоянно висящей туманности — чисто астрономической небулы, если всерьез считать вселенной отдельно взятую душу.

В эфире корпорация впервые прорезалась за день до смерти Сталина, а первая генерация сотрудников формировалась с начала 50-х. Имена общеизвестные: Газданов и Вейдле, Адамович и Слоним, Франк, Бахрах, Варшавский. Предпенсионное поколение — к моменту появления двадцати-с-лишним-летней Летиции, в этом пожилом кругу ставшей именно тем, чем была ее парижская работодательница в глазах большого мира. *L'etoile.* Звезда пленительного.

Sexual harassment, Сексуальное Домогательство, за борьбу с которым по инициативе Авангарда человечества, взялись уже только в наше время, был тогда в порядке вещей, незыблемом, как базовые основы устройства мира и партикулярной человеческой жизни. *Man's world.* Мир был мужским даже в Америке, и частью этого мира была «Свобода», маскулинность которой была либо американской, джентльменской, модерато, либо, что касается Службы, о которой речь, — собственно, русской, а это, господа… То есть, разумеется, были исключения. Среди американского начальства тоже: еще в 80-е годы дамы вспоминали, как им приходилось прятаться в дамских туалетах от «этого цэрэушного козла», не суть важно, какого именно. Но исключениями пренебрегая, можно сказать, что в целом русское — это есть либидо, все сокрушающее на пути к цели, буде возникнет на экране радара: ассоциаций с самонаводящейся головкой тут не избежать.

Невзирая на то, что он родился в эмиграции, несмотря на свою более чем странную, то есть, для русского, фамилию, американизованное имя и неудобьсказуемую кличку, Пол Нигерийский был исконный человек. Наш. Неисповедимыми судьбами отцов он занесен был в Африку, где родился и еще мальчиком стал активистом всецело культурной организации «Дом Америки». Злые, но, возможно, информированные языки (например, авторов парижского журнала «Контингент») утверждали, что профессиональную жизнь в радиожурналистике Паша Нигерийский начал вышибалой в одном из тамошних американских посольств. Читая это о себе, Нигерийский только усмехался. И то правда: определение, скорее, лестное, чем

наоборот. Рисующее пусть и не вполне высоколобую, но убедительную и вполне решительную стать. Вышибала, по сути, тот же боец, в любой момент готовый из пассивного состояния стража перейти к насильственному действию по устранению нежелательных элементов. Не физическому, нет. А как в борьбе сумо. Удалению из предначертанного круга. Так или иначе, но эти качества, в реальности присущие «Пашке», были оценены по достоинству. Он стал членом НТС. Многое можно поставить в упрек этой организации, но не ее боевитость. Можно не сомневаться, что Пол Нигерийский не заслужил, а завоевал себе место под солнцем — в одном ряду с вышеприведенным списком славных эмигрантских имен. Как и карьерный взлет. Трудно себе представить седобородых интеллектуалов — того же Вейдле или Булгакова — с набалдашником переносного микрофона, украшенного оловянным словом *Liberty,* на баррикадах восставшего Будапешта. Пола — можно. И нужно — для объективной оценки его сексуального магнетизма. Элегантная парижанка, в свои два-дцать-с-лишним мало что смыслящая в подрывной журналистике, попала под опеку не просто одного из шефов Русской службы, начальника Отдела новостей, но и этой Службы неоспоримого героя. Обладающего тем более если не шармом, то статью Шона Коннери в одной за другой выходящих на экраны Мюнхена картинах, закладывающих основы феномена бондианы: *Doctor No…*

From Russia with Love…

Несмотря на то, что Пол был женат и с детьми, его достоинства перевесили эти недостатки в некалькулируемом и безотчетном стремлении девушки быть взятой «под крыло» служебного романа.

Что сказать в защиту Пола? Тогда было так. И даже на самых вершинах власти — достаточно ограничиться периодом от Рузвельта до Кеннеди. Могут спросить, а от чего, собственно, защищать? Никто Полу никогда ничего официально не предъявил, и он сходил на нет со сцены по естественным причинам, все более и более впадая в морально-политический релятивизм в том, что касалось нашего, сподручно-профессионального различения добра и зла. После того, как ему поставили терминальный диагноз, послемитинговая доза пива становилась меньше и меньше, он начал половинить и по части сигарет — вплоть до того, что стал ломать на части, которые можно было вправить в мундштук. Путь, короче, всякой плоти, которая грустна даже в период апогея своего веселья.

Именно на этом отрезке, перед выходом Пола на финишную прямую, Летиция в работе со мной артикулировала

ретроспективные нападки, которые, по сути дела, если и имели отношение, то только к внутренней ее реальности. И тут индифферентно: можно продолжать восторги: «Ты мой Бонд, мой Джеймс Бонд!» Можно обзывать «грязным мужланом» и строить гримасы, вспоминая, как лишал обеденного перерыва, забегая, чтоб завалить на стол, а если это исключалось из-за регул, то… «Да, грязь, не стану даже говорить. Этот хам сводил женщину к унитазу!»

Все это и многое другое, честно совершенное под напором либидо, давно неприложимо к разбитому жизнью, но еще высокому и, можно сказать, видному старику, сутуло сидящему в нашей полуподвальной кантине за маленьким, словно бы детским стаканчиком пива, и запущенно-нестриженными ноздрями сокрушенно обоняющему свой мундштук: как, право, сладостен канцерогенный смрад…

Бегства моряков дорого обходились советским боевым их кораблям. В конце 1972 года новый большой противолодочный корабль «Адмирал Нахимов», после недолгих учений Северного флота в Норвежском море и Северо-Восточной Атлантике, был направлен на боевую службу в Средиземное море, где произошло «ЧП»: во время якорной стоянки в заливе Эс-Салум с корабля сбежал матрос. Боевая служба была прервана, корабль возвращен в Североморск. Были заменены командир и замполит. Судьба беглого моряка остается неизвестной, но сам случай выглядит достоверным.

Согласно Гегелю: все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс. Пусть событие не так, чтобы великое, но обратимся к первому из них.

В той же самой точке мира за семь лет до этого произошел аналогичный случай, но с иными последствиями. В два часа ночи на 15 ноября 1965 года с эсминца «Справедливый» в залив соскользнул по заранее спущенному тросу Николай Поленов, призванный на флот из Москвы. Три дня назад кубрик справил день его рождения. 21. Счастливое число.

В 1967 году Поленов стал самым молодым сотрудником «Свободы». Пол взял его к себе под крыло — редактором в отдел новостей.

В то время еще был жив отсидевший свое в Союзе и проживший почти век, Василий Витальевич Шульгин (1878–1976). Русский политический деятель и публицист, окончивший жизнь в Советском Союзе, был, как известно, русский патриот, не особо благодушный по части еврейского вопроса: *«Что нам в них не нравится. Об антисемитизме в России» (192g).* Депутат второй,

третьей и четвёртой Государственной думы, монархист, член Белого движения, эмигрант и, наконец, советский гражданин, осознавший, что коммунисты больше не враги России: *потому что их цель теперь не разрушение, а возвеличивание страны.*

Этот исторический персонаж приходится вспомнить потому, что эмигрантским кураторам не мог не понравиться выбранный Поленовым эфирный псевдоним: *Валерий Шульгин.*

Но дебютант не мудрствовал лукаво. Просто назвался фамилией товарища по ВМФ.

Бахрах, бывший литературный секретарь Нобелевского лауреата, отбывал последние годы на «Свободе», мечтая о возвращении с американской пенсией в Париж. Руководством он себя не утруждал. Изредка показываясь из-за развернутой перед собой «Фигаро», он все передоверял своему заместителю: «Паша, займитесь…»

Пол рад был обязать.

С высоты своей должности Пол Нигерийский смотрел на своих подопечных благодушно, как на детей, но сами «дети» сознавали возрастную дистанцию, их разделявшую: Летиции за 30, а Нику всего лишь 23.

Несмотря на «грязного мужлана», Летиция привыкла к своему чифу, к новому, взрослому балансу насилия и заботы, что она и полагала любовью. Когда Пол предпринял первые шаги по самоизъятию из своего служебного романа, Летиция ответила истерикой. Это потом она будет гвоздить его за манкирование личной гигиеной, за *quickies* на столах и проч.: тогда же он себе просто не представляла, как без Пола жить.

Наблюдательный Ник все больше входил в положение чи-фа, он «читал» его так же, как чиф читал «его», а за бутылкой эти взаимопроникновения достигали такого симбиоза, какой не снился никакому «сыну» по отношению к «отцу». Поэтому версия о том, что Пол передал Летицию своей правой руке в обмен на карьерные услуги, представляется слишком упрощенной. Но, в каком-то смысле, они, конечно, ударили по рукам. Не думаю, что при этом они заручались согласием или просто ставили в курс Летицию. Скорее всего, она ничего не подозревала, и потом: не мальчики ей нравились, пусть и мужественной челюстью, а именно мужланы — пусть и грязные. *Кавроны.* Прожженные мужики.

Тогда как от Ника еще пахло молоком.

С другой стороны, Ник рос, и можно было предвидеть, что заветное назначение заместителем — *deputy* — только вопрос времени.

А потом произошло то, чего Летиция не могла предвидеть.

После того, как «факт» состоялся, поняла: без Ника она не сможет. Клин клином вышибают. И это произошло не только в примитивно-животном смысле. За одну ночь, пусть и ночь нон-стоп, Поленов заполнил все внутреннее ее пространство так, что бывший любовник мгновенно отпал, стал совершенно посторонним человеком. Как будто ничего с ним не было. Вот теперь его посягательства «по старой памяти» стали чистым насилием, которое простить она не могла.

Этого Пол не мог понять. То, что верный собутыльник стал партнером и в этом деле, имело для него двоякое последствие: Ник стал родней, а Зойка желанней.

— Теперь мы с тобой сопизднички, — говорил он Нику. — Породнились, можно сказать…

Пол так себя и чувствовал. Снохачем. Оба искали и любили друг в друге русскость. Но есть ли более русское чувство, чем это? Так жарко все сплетающее воедино.

— Но это, батя, тост? — поднимал стакан свой Ник.

Несмотря на диковатый (от *wild*) характер секса, во всем прочем Летиция и Пол, родившиеся по эту сторону железного занавеса, были цивилизованными людьми с опытом разных стран, со знанием языков и культур. Мальчик из Москвы, пусть из «культурной», как он говорил, семьи, но в этом уступал. Свою роль в этих новых отношениях, где она была на семь лет старше, Летиция понимала, как просветительскую. Свободно говорящая на четырех языках, стала его гидом по Западной Европе (минус Франция). Он выглядел, как младший брат, хиппующий по примеру заокеанских ровесников — длинные волосы, расклешенные от колена джинсы. Трудно было поверить, что это штатный сотрудник *Liberty,* который не знает, на что тратить дойчемарки, ежемесячно переводимые ему на счет. Но такими они были — молодыми и более чем обеспеченными. Ходили в кино. Путешествовали…

— Скажи, — перебил я, внимая этой красивой версии. — Вы с ним смотрели «Искатели приключений»? Делон там играл… Вентура…

— Лино? Ну, конечно…

При этом Летиция не помнила, что героиню звали ее собственным именем, чего я забыть не мог, будучи фантомно в нее влюблен в Москве конца 60-х: в авангардную скульпторшу по металлу, сыгранную Джоанной Шимкус, впоследствии голливудской супругой Сиднея Пуатье.

Вокзалы, аэропорты, морские терминалы. Отели, рестораны. Австрия, Италия, Греция, Испания, Гибралтар, Канарские острова. Бенилюкс, Дания, север Европы.

Ра-ра-ра, Распутин… входила в моду песня, и Летиция только так и называла Ника: *Раит Лав Машин.*

Однажды он замер весь в поту:

— Там у тебя уже, как Спасские врата. Может, перевернем пластинку?

Понимая, что речь о каких-то священных русских воротах, она не понимала, а когда дошло — конечно, отказала… хулигану!

К аналу больше не склонял. Довольствовался. Мальчик. Зеленоглазый мой. Пока земля еще вертится…

Тот — *sale type.* Старый грязный мужик. Исчадие.

А этот ангел.

Сладкий ангел.

Любовь всей жизни.

Так говорила мне Летиция.

А он? *Шпион?..*

Узнав в Москве, что героини моей не стало, Поленов в загадочной своей книжке, изданной от его имени, но во многом откровенно сфабрикованной, хотя отчасти пронзительно искренней, написал:

«Часть меня умерла».

Прощальная церемония на Остфридхоф, Восточном кладбище, состоялась рано утром, что было удобно для собравшихся, которым предстоял рабочий день. Всем, включая меня, полночи просидевшего за домашним «макинтошем» над сочинением речи в поминальном жанре.

Очевидно было, что именно я, непосредственный «начальник» и, можно сказать, конфидент в течение пяти последних лет ее жизни, должен был «сказать несколько прощальных слов». Но неожиданно это превратилось в трудную задачу. Нет, у меня не было специального отвращения к публичным выступлениям, а если и было, давно преодолел. Но тут был жанр, который исключал искренность. Да и кому ее было бы адресовать? Конечно, я думал о ней, как о жертве. Но чьей конкретно? Холодной войны? Если бы я сказал, что провожаем в огонь мы жертву агрессивно-фаллократического миропорядка, кто взял бы на себя ответственность, кто испытал бы вину? Сталин? Гитлер? Апостолы холокоста, тринадцать участников совещания по окончательному разрешению еврейского вопроса в Берлин-Ванзее? Степан? Нигерийский, который спозаранку в крематорий приехал выпивший, а после церемонии, проходя, сказал с жалкой стариковской улыбкой: «Что, проводили мы Летицию?»

Конечно, хотелось бросить нечто исполненное горечи и злости, но кому? И на каком основании? В силу того, что оказался единственным в ее жизни «шефом», который не насиловал

подчиненную красавицу на пресловутом столе?

Да, но тем не менее.

Не смог предупредить. Вернуть ей смысл…

У себя дома на Йозеф-Раппе штрассе, таращаясь на экран-чик монитора с курсором, мигающим под ее именем и двумя датами, разделенными, как на могиле, с черточкой, я задавал себе вопрос о природе того, что я к ней испытывал. То есть, помимо «раненности женской долей», над которой иронизируют некоторые? Не опускаясь до ревности, Констанс, например, выражала некоторое раздражение от моей эмоциональной вовлеченности «в этот сюжет». Давал ли я повод? Видимо, да. Близость была. Даже физическая…

Был случай, когда Летиция меня поцеловала в губы. Когда мы возвращались с работы. Иногда, даже с палкой, ей хотелось пройтись, и мы вышли с территории на Оеттигенштрас-се, потом мимо стены до перекрестка, где свернули на Тиво-ли-штрассе, миновав общеизвестный киоск на углу, миновав остановку трамвая, маленький мост над ручьем, затем тупой угол комплекса огромных домов на Виденмайерштрассе, что уже есть набережная Изара, на старом мосту через который, на Макс-Йозеф-брюкке, где скульптурным мужам на той, противоположной стороне традиционно красят рты губной помадой, я остановил ей такси. И вот тогда. Поскольку это было в период, когда она всерьез размышляла об идее замужества с нашим советским фрилансом, я понял это, как поцелуй благодарности, но неожиданная его сила меня смутила. Кроме того, она меня обслюнявила так, что мне захотелось немедленно вытереть губы. Но не тут-то было. Такси остановилось так, что мне пришлось нести этот поцелуй метров десять, а потом еще открывать заднюю дверцу, захлопывать и поднимать прощально руку. Только, когда такси с ней удалилось по Монтгеласс-штрассе, я наружной стороной кисти стер исчезающий след ее слюны. С чувством некоторого стыда содрогнувшись при этом от брезгливости. Как она посмела? От приступа злобы. Не столько политической, как к любовнице шпиона, сколько чисто физиологической, что прекрасно понимают проститутки, даже не посягающие на эту форму буккальной близости. Конечно, я не считал ее, старомодно выражаясь, падшей женщиной, но не мог не прозревать ее бывших, и не только Нигерийского с Поленовым, но и прочих.

Того же Мурата, репутация которого такова, что она не преминула сказать мне, что у нее «с Муриком» ничего не было. Что Мурик и подтвердил. Сначала. Но потом вспомнил, что все же было. На прощанье. В машине, на которой подвозил ее домой. И это при том, что Летиция ругала современные нравы в лице

моих советских авторов женского пола, заведомо готовых и в хвост, и в гриву, тогда как она, дескать, даже орал резервировала для тех, кого любила. Но, выходит, не только. Не исключительно. Хотя, с другой стороны, оснований верить Мурику столько же, сколько и ей: своим враньем он подтверждал свою репутацию универсала, перед которым никто не устоял, тогда как она предположительным своим — защищала в моих глазах свое достоинство в том смысле, что была не лег-коукладываемой — *easy lay* (чтоб не сказать по-русски честная давалка). Странно было мне сейчас, под знаком вечности, надо мной нависшим, вспоминать подобные мелочи, но они упорно лезли в голову, чтобы быть беспощадно отброшенными жанром, который требует «или хорошо, или ничего».

Я не был уверен, что «хорошо» — это беззаветная любовь к неправильному человеку, шпионскую тайну которого она сохраняла и после того, как ее бросили ради катастрофического брака с девятнадцатилетней, — вплоть до того, как он исчез, чтобы вынырнуть в Москве на телевидении, когда за нее взялся начальник службы безопасности Фрост.

У него, кстати, хватило такта. В полумраке зала его не было.

После того, как отзвучала музыка, я поднялся с кресла и направился к трибуне, которая была расположена не по центру, а справа — на одном уровне с партером. Лишенная помпезности, ассоциируемой с этим словом, небольшая и узкая эта трибуна имела, к счастью, поперечный козырек, маскирующий лист принтерной бумаги, который, незаметно-плоско вынув из бокового кармана, я осторожно, избегая скрипа, развернул и положил перед собой на лакированный пюпитр. Микрофона не было. Ряды кресел передо мной были заполнены не сплошь, а островками в один-два человека. Пришедшим на проводы требовалась дистанция друг от друга. Окинув взглядом безукоризненный во всех отношениях гроб благородного дерева, делающий честь корпорации, на которую тридцать лет работала Летиция, я сразу заговорил так, чтобы быть услышанным и теми, кто выбрал сесть дальше всех: то есть, все же прийти, но, на всякий случай, максимально диссоциироваться с сомнительной репутацией коллеги-самоубийцы.

Когда говоришь о кремации, имеющей место в бывшей столице нацистского Движения, невозможно отделаться от образа кремационных печей Дахау — с их мемориально распахнутыми обгорело-стальными дверцами. Хорошо, что текст лежал у меня перед глазами, а то бы — кто знает? — занесло. В конце концов, это была одна из глубинных тем Летиции, все прочитавшей про геопатологические места массового уничтожения и лагеря смерти

и, конечно же, при жизни тысячу раз повторившей в мыслях реальный финал своей матери.

О чем я не преминул напомнить. Как и об инфантильных травмах оккупационного периода во Франции. Не вдаваясь, разумеется, в подробности, доверенные, возможно, только мне — хотя вряд ли случайным был фидбэк в виде влажного мерцания в больших глазах редактора программы «Контакты» Молли Рифель-Гордин, сидящей вместе со своим супругом Гердом: эта израильско-баварская пара всегда была для Летиции доказательством, что счастье в браке возможно не только в теории: просто ей, Летиции, не повезло.

А вот на чем я сосредоточился, так это на профессиональных достоинствах и заслугах, и не только в качестве резчицы пленки, но и как режиссера, и равноправного соиздателя книги, которую финансировала корпорация сразу после победы над коммунизмом. Это должна была быть серия «У микрофона…», посвященная самым ярким нашим именам, но по немедленно возникшим финансовым проблемам вышла только первая книжка «У микрофона Александр Галич».

Говоря об этом, я не мог не бросить взгляд на Дундича, сидящего с супругой. Представительный этот человек, умевший хорошо одеться даже на мюнхенских фломартах, предал наш тройственный союз. Как только границы открылись, ринулся в Союз, где проник с микрофоном даже к «архитектору перестройки» в Кремль и, грубо говоря, снял пенки столь ошеломительно, столько невероятно-классически-по-хлестаковски, что в одном из интервью объявил себя чуть ли не руководителем всей Русской службы (которым был, разумеется, Атос, неизвестно как все это проглотивший). Разумеется, все наши скромные заслуги «в области культуры» Дундич приписал себе. Но если меня все же не мог не упоминать («я с помощью молодого писателя Саши Андерса…»), то покойную не удостоил даже этого. На радио в Мюнхене, читая все это в перестроечных еженедельниках и газетах, мы с Летицией успели обсудить это вероломство, невероятное даже по стандартам контингента, в который я влился, чтобы бороться с коммунизмом:

— И это человек, с которым во время ланчей мы гуляли в Английском парке? Который катал нас в своем новом черном «Мерседесе»?..

Но Дундич был по эту сторону бытия и строил далеко идущие послепенсионные планы, тогда как она, гробу которой из приличия он отдал долг, уже несколько дней была по ту.

Отчасти и этот негатив имел я в виду, когда в заключение напомнил формулу экзистенциального стоицизма. *The winner takes*

nothing.

Победитель не получает ничего.

Аплодисментов не было.

Я спрятал бумагу в карман своего антрацитового пиджака. Кивал седым ежиком начальник персонального отдела. Не дождавшись церемонии, сестра Летиции вернулась к мужу, но было договорено, что прах будет переслан ей по почте, чтобы, согласно последней воле, быть развеянным внутри периметра ее заокеанского *lot* а — то есть, надела.

Была музыкальная пауза, а потом разверзлись темно-пурпурные шторы, и гроб был вдвинут в пламя, которое за огнеупорным стеклом бушевало там, внутри, с абсолютно инфернальной яростью, отблески которой я почувствовал на своей коже.

После чего наступил очень странный, и, я бы сказал, извращенно-постыдный период. Корпорация спешила расторгнуть контракт с «Арабеллой». Все, что ей показалось ценным, сестра увезла в Америку. Все остальное была моя ответственность. Правда, пришел на помощь Тодт. «Майне тохтер, — сказал он, — моя дочь имеет магазин одежды сэконд хэнд. Поэтому, если вы не возражаете…» — «Да разумеется! — сказал я. — Зельбстферштендлих. Вот ключ!» Но у него был свой. Одна из копий. И они с его мюнхенской дочерью, должно быть, уже великовозрастной, освободили жилплощадь от того, что Летиция носила в Баварии — в полном диапазоне. Начиная от вышедших из моды по соображениям гуманности меховых шуб (вместо которых она носила утепленные плащи) до дамского белья, с предметами которого даже в страшном сне я не мог «при-снить» себе визуального столкновения. Вдруг мне попались бы грязные трусы? Нехорошие настроения по этому поводу выражала и Констанс, которую я перед визитом в «Арабеллу» клятвенно заверил, что от всего носильного квартира освобождена.

Это разные чувства — переступать порог дома только что умершего или уже похороненного. Я это почувствовал. На этот раз было легче. Только теперь в квартире был беспорядок, как после обыска. Причем, самого бесцеремонного — таким я представлял себе гэбэшный. Все было на полу. «Бля-я-ать…» — продвигался я, пиная и отбрасывая то, что попадалось под ногу. Дочь кадровика очистила встроенный шкаф в спальне, где висели голые вешалки, но могла бы заодно забрать и эту омерзительную шерсть, клубки которой подкатывались ко мне отовсюду, как живые. Спицы я ненавидел тоже.

Но книги — да. Сбылось то, что она повторяла не раз, впервые произнеся года три назад. Только как я их увезу?

Спустившись на лифте, я обошел по периметру всю «Арабеллу», подбирая картонки, выставленные кое-где у дверей модных магазинов. Обращая на себя недоуменное внимание постояльцев, вернулся и стал освобождать полки, начиная с тяжелых книг в твердой обложке. Из биографии Никсона, которую тоже надо было брать, выпала книжечка, синесеребряная полиграфия которой показалась мне банковской. Так и есть. Сберкнижка. Морщинистость говорила о частоте вкладов, которые начались за десять лет до этого, собрав в итоге столь внушительную сумму, что мне оставалось только поразиться: как же Летиция об этом не вспомнила?

Тодт удивился тоже. Но заверил, что никаких проблем. Сбережения будут переведены сестре в Америку.

С книгами я намучался. Кухня была маленькая, но здесь тоже был целый стеллаж кулинарной литературы, за которой приехала на «порше» со своим парнем недалекая девушка поразительной красоты. У меня была мысль вовлечь ее в эфир. Но, попросив написать для радио что-нибудь интересное о жизни мюнхенской молодежи, получил дискету с лихим отчетом о том, как она орально любила своего парня на скорости 240 километров в час. Бармен в модном молодежном заведении «Эр-Айнс», парень собирался открыть ресторан и очень благодарил за книги. *My pleasure,* отвечал я по-английски. Благодаря Летиции, я сделал себе приятное, распределив ее обстановку по людям — кому rattan, кому разборную из Икеи, а кому-то кресло из фильма «Эмманюэль».

Еще я нашел вино — целую батарея белого. На каждой бутылке рукой Летиции был написана дата и место приобретения. Я открывал, пробовал, выплевывал, а следом выливал содержимое. И так бутылка за бутылкой. Вино, как я понял, охватывало их с Поленовым лучший период. Но, к сожалению, ни одного живого вина не сохранилось. И вся коллекция ушла в раковину нержавеющей стали.

Последнее, что вывез я, это была шерсть. Огромный мусорный мешок. Дежурные из-за стойки смотрели мне вслед, когда я тащил его с чувством, что оставляю кровавые следы на мраморных плитах. Таксист даже вышел, чтобы помочь мне его вмять, а заодно убедиться, что это не расчлененка. Констанс возопила, стоило мне перешагнуть порог дома: «Фу! Какая вонь! В подвал!»

Я черпал из этого мешка до самого конца нашего существования в Мюнхене, раздавая клубки визитерам «с холода», где и сейчас, наверное, многие донашивают свитера той шерсти, не подозревая ни о чем сверхъестественном.

Я уже сдал ключ, когда меня навестил Тодт, чтобы передать просьбу администрации «Арабеллы» — надо очистить и подвал.

— Какой, — неприятно удивился я, — подвал?

Все было там озарено: наддверные лампы, забранные в проволочную сетку, люминесцентный свет вдоль, но все равно было не по себе в этих коридорах хорошо подметенного бетона и железных клеток. За одной из них человек в расстегнутом манто — галстук бабочкой — запрокидывался, пия из пыльной бутылки. В дверце торчал ключ. Я проскользнул, оставшись незамеченным. Вот и клетка Летиции. Выданный мне дежурным ключ подошел. Открыв дверь, я вошел внутрь. Прислоненная к шероховатой стене, здесь стояла, не падая, круглая столешница обеденного стола. Я прочитал пожелтевшую этикетку, приклеенную изнутри: *Made in Finland.* Год производства тоже был хороший: *erotique.* 69-ый. Отвинченные ножки, опоясанные изоляционной лентой, стояли рядом. Летиция мне говорила, что у них с Поленовым была не только общая кровать, но и семейный стол, зеленый, который они покупали вместе — в перспективе дальнейшей жизни. Вот он, стало быть. Стол яств. Сработанный с не меньшим тщанием, чем та мебель, в которой она убыла в тот свирепый огонь.

Ничего больше тут не было. Не считая картонки, которая оказалась доверху наполненной фотоснимками их любви. Один снимок я потом узнал. Поленов его вставил в свою книжку. Там он сходит по трапу — индивидуальному, с надписью Bavaria под каждой ступенькой. Видны сложенные руки бортпроводницы, на заднем плане механик в белом комбинезоне, вознесший руки, в одной отвертка, к исподу самолета, а дальше ожидающий прибывших автобус авикомпании *Iberia.* Но на переднем и главном плане он — только что прилетевший из Мюнхена якобы на отдых в Лас Палмас, Испания, агент КГБ двадцати девяти лет от роду: битловская прическа, вызывающе выдвинутая, тяжелая, совсем американская челюсть. Такой крупно-плотный битюг, что ударом не свалишь. Темный пиджак, широкие по моде семьдесят третьего года лацканы, белая рубашка, широкий галстук в косую полоску. Ремень. Расклешенные брюки. Мокасины. В руке натянутый фотоаппаратом *Nikon* черный ремешок, пластиковый пакет с блоками сигарет дьюти фри и самолетная сумка, упомянутая в подписи под снимком, там, мол, секретные документы, которые будут представлены в КГБ несколькими днями позже в Москве.

Бля, оперативник… Бонд!

И ведь предстоит еще работать неразоблаченным не много не мало, а тринадцать лет! Вплоть до того самого момента, когда в

свой энный раз он прилетел в Берлин, явился к заветной дырке и взмолился в восторге ужаса от предстоящего: «Мама! Роди меня обратно!..»

И Родина не отказала сыну. Вот, как сын описывает тот момент:

25 февраля [1986] я — хорошо одетый господин с сумкой, висящей через плечо и чемоданчиком в левой руке — вышел из небольшого отеля рядом с Фридрихштрассе. На первом же перекрестке купил букет гвоздик. Потом направился к подземному пограничному пункту. Я выглядел, как типичный западный немец, собирающийся навестить своих бедных родственников по ту сторону Берлинской стены. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я спустился в туннель и приблизился к тому месту, где восточногерманская пограничная охрана проверяла документы. В этом месте, однако, между двумя мирами, я вместе с другими респектабельно одетыми джентльменами перестал двигаться и остановился рядом с едва заметной дверью в стене. Я надавил на кнопку. Дверь открылась. Меня буквально втащили внутрь.

Чего не сказано в подписи под фото, сделанном на Майорке, так это то, что пятью ступеньками выше Поленова запечатлелся еще один пассажир баварского рейса на выходе. Дама, которая только что взялась за перила трапа и неуверенно, будто пробуя воду, опускает на шаткую ступеньку левую ногу. Как ГБ допустила публикацию этого образа, почему не отретушировал? Поскольку это ведь она… или мне кажется… Нет, нет! Она! Летиция! В брюках, в полупальто, застегнутом только на одну пуговицу. Большие темные очки — как и на нем: Джеймс Бонд, я говорю. Лица почти не видно, но, конечно, старше своего любовника, ей хронологически под сорок, а с виду совершенно столько же, как все это время, что я ее знал. Ну, абсолютно! Не моложе, но и не старше. Будто снимок, сделанный предприимчивым курортным фотографом, остановил не только тот вполне счастливый момент, но и закон его необратимости. Вот именно такой она была на каменном мосту, когда нанесла свой поцелуй.

— Месье! Месье! — окликнули меня на пути обратно. Я ударил коленом по дну коробки, прижал ее к себе и повернулся. Экс-травагант, оставив свою бутылку, нес к решетке своей клетки непочатую и говорил без акцента по-французски. — Позвольте мне выразить сочувствие. Нет-нет! Ничего не говорите. Поверьте, я знаю, каково это — остаться без матери. Возьмите, прошу вас. Да, «шато марго». Но год, скорей, посредственный. Берите-берите,

все равно это вас не утешит.

Год был 1977-ой. Когда я выбрал свободу.

— *Merci Ъeaucoup.*

Я взял.

«Ноги! Ноги!» — вскричал я, себя не слыша, прямо из глубин ночного подсознания, чем разбудил свою чуткую жену. — «Ноги? У кого?» — «У Летиции! Я понял, почему отказывают ноги! Надо позвонить ей! Ну и что, что ночь! Я ведь забуду! Где телефон?»

Констанс прервала мой бред:

— Летиция умерла.

И я очнулся.

Ни одна из тем, образующих безумную руладу жизни, до конца не кончается. Рано или поздно, но прорежется, напомнит о том, что был период, когда она доминировала, или, во всяком случае, звучала не под сурдинку. Новые факты вернут и обяжут перечитать свою историю заново, чтобы, наконец, поставить точку в приватном цикле версий и толкований (в ступе).

Вот уже, как два года был разведенный с Констанс, я готовился заключить другой, совершенно катастрофический брак, и это было в другой, пусть и лимитрофной стране, другой столице, пусть претендующий на статус «матери городов», когда прочитал в зарубежной — московской — газете, что моя сотрудница была шпионкой.

И не просто какой-нибудь.

Одним из самых ценных приобретений КГБ.

Я бы этому не поверил, но заявление сделал не кто иной, как Фрост. Бывший начальник службы безопасности, он теперь работал в том же русле в банковской сфере, время от времени появляясь на европейских конференциях с благо-родно-тщетными призывами не оставлять безнаказанными гэбэшных агентов. Интервью, которое сделал с ним один из сотрудников, оставшихся в Германии после закрытия там корпорации и самого славного ее периода, кроме этого признания в заключительной части, не содержало ничего интересного, поэтому было очевидно, что вся цель этой беседы именно в том, чтобы рассказать об агенте по кличке «Зоя».

Все это заставило меня отмотать жизнь назад и пересмотреть ее еще раз, поражаясь в процессе этого своей наивности. Но что с меня возьмешь? Если довольно простоты даже на всякого мудреца, а я всего-навсего прозаик. Однажды в разговоре с ней я упомянул, что был участником Всесоюзного совещания молодых писателей, которое в основном проходило в гостинице «Юность». И она ошарашила меня вопросом. Эта не та ли, спросила Летиция, из которой видно железную дорогу на такой высокой

насыпи? Да. Но ты откуда знаешь? Я там была. Когда? Еще из Парижа летала. После лицея.

И я поверил. Несмотря на то, что именно она пугала меня коллегами. Их тайной двойной жизнью. Вот ты ничего не подозреваешь, а некоторые из них проводят каникулы в Москве.

Где?

Конечно, я не верил.

Я смеялся…

Но именно в той гостинице, где нас, молодых, обсуждали на предмет готовности влиться в советскую литературу, ее, тоже совсем не старую, но не очень сообразительную, обучали работе с шифровальными блокнотами. Прилетевшую из Восточного Берлина, куда она попала все через ту же заветную дверь в подземном переходе на Фридрихштрассе, «Зою» нужно было подготовить в предельно короткие сроки. В комнате где-то на верхних этажах. Окно которой выходило на железную дорогу. Окружную. И весьма печальную. Иногда товарняки катились по ней уже в какой-то совсем немыслимый индастриал… под названием, возможно, «Серп и Молот».

Конечно, в виду имела Летиция себя. Я говорил ей, что я счастливый человек, поскольку мне удалось познать и эту жизнь, и ту. Конечно, тут она молчала. Но про себя, возможно, думала, что в этом смысле тоже счастлива.

А какой момент истины был, когда к нам приехал на выступление генерал! Момент мужества. Зная, что Центр больше не держит, что все под ногами трещит, как весенний лед, что они, рядовые нелегалы, работающие за пригоршню долларов или просто ни за что, как Поленов, отрабатывая право вернуться на Советскую Родину, преданы своим руководством, — встретиться с главным из них.

С глазу на глаз.

И где? В самом логове зверя!

In the belly of the Beast!

Надо отдать должное генералу. Обозревая нас всех, а в нашем кругу агентов, которых лично он курировал, публично сказал он только об одном — уже засвеченном.

Неизвестно, конечно, что говорил за кадром.

При новом режиме бывшему герою дали пятнадцать лет за измену родине. Но к тому времени генерал был уже в Америке, где принял присягу звездно-полосатому. В отличие от других персонажей нашего фактоида ему посвящен целый стенд в столичном Музее шпионажа.

Первом в мире.

Одним из директоров которого он, кстати, и является.

II
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Олег Александрович Туманов (1944–1993)

Олег Калугин. Прощай, Лубянка!

(фрагмент из книги)[6]

…Хотя в воздухе витало предчувствие грозы, оно никак не предвещало драматического утра 19 августа 1991 года. За два дня до этого я вернулся из Мюнхена, где встречался с коллективом радио «Свобода». Впервые я попал в логово того самого зверя, которого моя бывшая организация травила в течение десятилетий. Удивительное это чувство — встретиться лицом к лицу с теми, кому годами навешивали ярлыки шпионов и идеологических диверсантов, кого я знал заочно по донесениям внедренной в «Свободу» агентуры, о ком сочиняли пасквили и фабриковали документы. Я входил в здание радиостанции в смятении, готовый если не к враждебному, то по меньшей мере холодному приему, ехидным репликам, насмешкам. Я не собирался оправдываться и тем более просить прощения. Я просто хотел рассказать о том, как все было, как велась война, бескровная, но жестокая и непримиримая с нашим заклятым врагом — антисоветским зарубежьем, чего мы достигли в этой войне и на какие рубежи вышли в ходе горбачевской перестройки.

Странно, но люди, которых я увидел в зале, были настроены не зло, некоторые даже улыбались. Обстановка напоминала скорее встречу давних знакомых, разделенных временем и расстоянием. Невидимого барьера, пропитанного душной ненавистью и недоверием, как будто никогда не существовало. По ходу своего выступления я несколько раз мысленно представлял себе, как взревет аудитория, если я расскажу о проводившейся при мне подготовке взрыва радиостанции.

С самого начала эта акция была задумана как шумное пропагандистское мероприятие, имевшее целью напугать немецкого обывателя, проживающего в округе, побудить его обратиться к властям с требованием убрать радиостанцию с германской территории. Имелось в виду попугать и самих сотрудников «Свободы». При этом предусматривалось, что взрыв будет осуществлен в ранние утренние часы — так, чтобы не причинить вреда случайным прохожим. О том, что операция

наконец проведена, я узнал уже будучи в Ленинграде. О жертвах или каких-либо повреждениях не сообщалось. Очевидно, все прошло в соответствии с планом.

Не знаю, что думала аудитория, слушая мой рассказ, но я почувствовал себя особенно гадко, когда кто-то из зала бросил реплику: «А глаз одному человеку все же повредили. До сих пор лечится». И все же я закончил свое выступление под аплодисменты.

Долго пришлось потом размышлять: отчего такое всепрощенчество, почему не улюлюкали, не свистели? Примерно так же меня встречали в США, где я побывал осенью 1990 года, впервые после двадцатилетнего перерыва. Только ли интеллигентность сдерживала их, некий кодекс вежливости по отношению к гостю? Мне кажется, их снисходительность и даже радушие коренились в природной расположенности людей к тем, кто способен признать свои заблуждения и ошибки, покаяться без самобичевания, но с достоинством, не ожидая при этом ни слов прощения, ни тем более похвал.

У сотрудников «Свободы» были, по-видимому, еще и свои причины: они знали не понаслышке, что такое коммунистическая власть, многие из них, наверное, тоже когда-то верили в царство равенства и свободы, обещанное вождями мирового пролетариата, познали и горечь разочарования, и жестокость преследований, и унижение. «Познай, где свет, поймешь, где тьма», — говорил А. Блок. Они познали раньше меня и сделали свой выбор. Для них я был еще один запоздавший путник с далекой и близкой им земли…

На ”Свободу» с чистой совестью?

Знаменитая радиостанция всегда была пристанищем агентов всех мастей

Рассказами о шпионах сегодня никого не удивишь. Интервью журналистам охотно раздают бывшие резиденты и нелегалы. Ветераны внешней разведки, чьи подлинные имена раньше не знали даже их жены, теперь строчат мемуары и тусуются на презентациях. О времена! О нравы! И все же пусть не обманет вас эта кажущаяся открытость. Специфика тайного ремесла такова, что наверх всплывает только малая часть всего того, что сумели натворить рыцари плаща и кинжала.

Мы познакомим вас с судьбой одного из секретных агентов КГБ времен холодной войны. Московский парень Олег Туманов

был призван служить на Балтийский флот. Осенью 1965-го, когда его эсминец в составе нашей эскадры бороздил Средиземное море, Олег тайно покинул корабль, вплавь добрался до Африки и… Ливийцы передали его англичанам, англичане американцам, американцы после проверки определили Туманова на радиостанцию «Свобода», которая тогда вещала на СССР из Мюнхена, финансировалась спецслужбами и ходила у Кремля в самых опасных врагах.

Туманов так понравился американцам, что они помогли беглому матросу сделать на идеологическом поприще головокружительную карьеру: за 20 лет он дорос до должности главного редактора всей русской службы. И почти все это время активно сотрудничал с Лубянкой. По сути дела, враждебным вещанием на нашу страну руководил советский агент. Вот как бывало.

Наш корреспондент познакомился с бывшим шпионом в начале 90-х, когда Олег оказался не у дел. Он жил в скромной квартире неподалеку от Цветного бульвара, всеми забытый и больной. Он пил водку стакан за стаканом, ничем не закусывая, и предавался воспоминаниям. Наш корреспондент прилежно записывал. В России эти воспоминания еще не публиковались.

Побег с эсминца

Кажется, настал мой час. Теперь или никогда. В корабельной библиотеке я полистал энциклопедию: что там сказано про Ливию? Потом провел «разведку боем»: спросил у штурмана, когда пойдем в Александрию? (На самом деле меня интересовало, сколько времени простоим здесь.) Штурман простодушно раскрыл карты: «Никакой Александрии нам не видать. Послезавтра уходим отсюда».

Ага, значит, у меня есть две ночи. Решено: попытку сделаю прямо сегодня, в ночь с 14 на 15 ноября 1965 года.

Я порвал и незаметно выбросил за борт все письма и бумаги. Приготовил легкий спортивный костюм, тапочки, флягу с пресной водой и несколько иголок на случай, если в воде сведет ноги судорогой. Море вроде бы теплое, но мало ли что.

С вечера на прочном канате опустил за борт свою робу — так мы «нелегально» стирали одежду, а мне этот канат теперь пригодится, чтобы по нему бесшумно соскользнуть в воду. Не буду же я прямо с палубы нырять вниз головой.

Прозвучал сигнал отбоя. Вместе со всеми я улегся на свою жесткую койку в матросском кубрике и притворился спящим. Мне

требовалось выждать до двух часов ночи — в это время на мостике, кроме двух вахтенных сигнальщиков, никого нет. Да и вахтенные, как я неоднократно убеждался, особой бдительности в эту пору не проявляют.

Три дня назад мне исполнился 21 год. Я был типичным московским парнем середины бо-х. Не лучше и не хуже других. Мне бы закончить службу, вернуться домой, найти работу по душе, жениться на любимой девушке… Но нет — судьба распорядилась по-другому. Вот сейчас, совсем скоро, мне придется порвать со своим прошлым, фактически предать его. Совершив побег с корабля, я убегу от всего, что 21 год было моей жизнью. На родине меня объявят подлым предателем, а суд военного трибунала приговорит к смертной казни. Всех моих родных и друзей потащат на допросы в КГБ, и у кого-то могут быть неприятности по работе или учебе «за связь с отщепенцем».

Не слишком ли велика плата за предстоящее приключение?

Пора! Все еще не в силах справиться с волнением, я тихо встал, надел легкий спортивный костюм, на ноги обул тапочки. Не забыл прихватить сигарету и спички: если кто-нибудь застукает меня сейчас на палубе, объясню, что вышел покурить. Это не запрещалось.

Когда я спускался к воде, то ногой задел «броняшку» — стальную заслонку одного из иллюминаторов. Она с грохотом упала где-то внутри корабля. Я замер. Но никто не проснулся, никто не поднял тревогу. Фортуна явно благоволила мне в ту ночь.

Оказавшись в воде, я нырнул и постарался под водой отплыть как можно дальше от корабля. Постепенно, по мере того как дистанции между мной и эсминцем увеличивалась, ко мне возвращалась уверенность. Пути назад не было. Я уже сделал свой выбор.

Стараясь экономить силы и не сбивать дыхание, я равномерно приближался к берегу. Наконец, ноги коснулись прибрежных камней. Выбравшись на сушу, чуть-чуть отдохнул, снял и отжал одежду, осмотрелся. Флягу с пресной водой во время плавания потерял. Ненужные теперь иголки выбросил. Часы оказались вполне исправны.

Надо было спасаться от предутреннего холода. Мокрая одежда прилипала к телу. Волнение прошло, но теперь у меня от холода зуб на зуб не попадал. Я сориентировался, где находится египетско-ливийская граница, и бодрым шагом двинулся в этом направлении, хорошо помня о том, что в Египте мне задерживаться опасно.

Местность была холмистой, без особых препятствий для

ходьбы. Я остановился, только когда взошло солнце. Мне казалось, что позади уже осталось огромное расстояние, но какова же была моя досада, когда, обернувшись, увидал совсем рядом эсминец и крейсер. Однако границу я, кажется, пересек и оттого чувствовал себя в большей безопасности. Выбрал в ложбинке плоский, прогретый солнцем камень, улегся на него и уснул.

Через пару часов, отдохнув и обсохнув, тронулся дальше, в глубь ливийской территории.

Можно ли обмануть «детектор лжи»

Однажды в конце апреля мой куратор Алекс предупредил, что завтра надо быть готовым к серьезному испытанию. «Советую хорошенько выспаться, — сказал он. — И ни в коем случае не пей спиртного». Утром он привез меня на специальную виллу военной разведки, где передал в руки двух типов. У одного из них, имевшего вместо ноги протез, я заметил перстень с красным рубином — символ принадлежности к спецвойскам армии США. Другой, в очках и белом халате, напоминал доктора медицины. Они завели меня в комнату, одна стена которой представляла сплошное зеркало. Усадили в кресло перед столом, а к грудной клетке, запястьям и ко лбу присоединили провода, тянувшиеся к стоявшему на столе прибору величиной с кейс. Одноногий тут же скрылся — я думаю, чтобы незаметно наблюдать за мной с другой стороны «зеркала». А его коллега, задав несколько чисто анкетных вопросов, зашел мне за спину и предупредил:

— Сейчас мы проведем маленький тест. Волноваться не надо, поскольку это не принесет вам никакого вреда. Я буду задавать вопросы, а вы должны быстро, не думая, отвечать на них

— «да» или «нет». Только «да» или «нет». И отвечать сразу, ни секунды не размышляя. Сидите, пожалуйста, спокойно, не двигайтесь.

Прибор на столе включился, из него поползла лента самописца. Я глянул на себя в зеркало: на лице — ни малейших следов испуга. Держался я хорошо.

«Вы — Туманов Олег Александрович?» — «Да». — «Вы родились 12 ноября 1944 года?» — «Да». — «Вы закончили курсы КГБ в 1964 году?» — «Нет». — «Вы состояли членом коммунистической партии?» — «Нет». — «Вы знали человека во фамилии Малофеев?» — «Да». — «Вы гомосексуалист?» — «Нет». — «Вы нас обманываете?» — «Нет». — «Малофеев это ваш родственник?» — «Да». — «Он вас привлек к сотрудничеству с

КГБ?»

— «Нет». — «Вы бежали с корабля, потому что вам нравится жить на Западе?» «Да». — «Вы любите свою родину?» — «Да». — «Вы согласились выполнять поручения КГБ, потому что любите свою родину?» — «Нет». — «Вы считаете себя честным человеком?» — «Да». — «Ваши руководители в КГБ считают вас перспективным агентом?» — «Нет». — «Девушку, с которой вы встречались в Москве перед призывом на военную службу, зовут Таня?» — «Да». — «Ваши родители ничего не знали о вашем намерении перейти на Запад?» — «Да». — «Иногда вам приходится говорить неправду?» — «Да».

Сижу, как на электрическом стуле. Руки — на подлокотниках кресла. Электроды подключены к телу, и самописец беспристрастно выписывает мне приговор. Или — оправдание? Полиграф и не таких, как я, помогал «расколоть».

Иногда одинаковые вопросы повторяются. Иногда кажется, что такой вопрос уже был, но нет, два-три слова заменены, и смысл фразы становится прямо противоположным. А задумываться нельзя, темп выдерживается спринтерский. Мои нехитрые уловки, когда я, чтобы выиграть время, пытаюсь вместо «да» — «нет» привести развернутый ответ, немедленно и резко пресекаются.

Пытка продолжалась около часа. Наконец, человек в роговых очках вышел из-за спины, выключил прибор и стал отсоединять меня от проводов. Почти одновременно появился Алекс и инвалид с перстнем. Все трое, не обращая на меня внимания, уткнулись в ленту самописца. Должно быть, не все там оказалось гладко, во всяком случае, их лица продолжали оставаться напряженными, словно у хирургов, завершивших операцию, но не убежденных в том, что пациент будет жить.

Затем Алекс свернул ленту в рулончик и сунул себе в карман. «Поехали обедать», — коротко бросил он. В машине я «наивно» спросил его, что это было. «Чрезвычайно важный этап твоей проверки», — ответил Алекс без тени улыбки.

Кругом одни шпионы

В середине 70-х ребята с Лубянки через подставное лицо продали агенту американской разведки за хорошие деньги один из томов так называемой «Розыскной книги». Это секретное, постоянно обновляющееся издание, где публиковались «ориентировки» на лиц, разыскиваемых госбезопасностью. Были там сведения и обо мне. Вот они: «Туманов Олег Александрович.

1944 года рождения, уроженец и житель г. Москвы, русский, образование среднее, бывш. кандидат в члены КПСС, по специальности чертежник, служил матросом в войсковой части 63972 Дважды Краснознаменного Балтийского флота. Рост 173 см, волосы темные, лицо овальное, глаза голубые, на правой щеке у виска имеются три родинки. Отец Туманов Александр Васильевич, мать Туманова Евдокия Андреевна, брат Туманов Игорь Александрович, близкая связь Данилова Татьяна Константиновна проживают в городе Москве.

В ночь с 18 на 19 ноября 1965 года в период стоянки корабля на якоре в территориальных водах Объединенной Арабской Республики в заливе Салум в 1,5 км от берега исчез. Установлен проживающим в Мюнхене (ФРГ), работает в отделе новостей радиостанции «Свобода», от имени Валерия Шульгина постоянно выступает с антисоветскими речами.

Арест санкционирован военным прокурором Дважды Краснознаменного Балтийского флота».

Здесь есть, по меньшей мере, три неточности. Во-первых, глаза у меня не голубые, а зеленые. Во-вторых, отчество матери не Андреевна, а Андриановна. И, наконец, родинка у меня на правой щеке всего одна, но никак не три. Типичный пример чисто русского отношения к делу. Даже к такому, как розыск «государственных преступников».

У меня порой создавалось впечатление, что на радиостанциях «Свобода» и «Свободная Европа» работали люди только двух сортов: агенты ЦРУ и агенты КГБ. О деятельности американских спецслужб даже на Западе написано очень много. Факт, как говорится, общепризнанный. Но и спецслужбы восточноевропейских стран не дремали. Польская контрразведка до 1971 года регулярно получала информацию от внедренного в «Свободную Европу» капитана Анджея Чеховича, а когда он вернулся в Варшаву, его заменил Мечислав Лях. Болгары пользовались услугами офицера своей госбезопасности Христо Христова. Чехословаки «пристроили» в Мюнхене Павла Минаржика. И это только те, имена которых были раскрыты, попали в прессу. То есть лишь мизерная часть айсберга.

Я знаю людей, которые были всеобщими любимцами на «Свободе» и которых уже давно нет в живых, — они унесли в могилу тайну своего многолетнего сотрудничества с советской госбезопасностью. Я знаю и тех, кто и по сей день продолжает секретную деятельность. Осуждаю ли я их? Нет, не осуждаю.

Откуда в доме «клопы»?

С появлением дочери и ее первыми самостоятельными путешествиями ползком по полу связан один эпизод, которому я до сих пор не нахожу объяснения. Однажды — девочке было около годика — она выползла из спальни, держа за щекой какой-то посторонний предмет. Я взял ее на руки, и она выплюнула его изо рта. Ого! Это оказался миниатюрный микрофон с магнитной присоской. Он был искусно замаскирован под округлую шляпку винта. Откуда Саша отковыряла этого «клопа», кто и когда его поставил? Я был сильно встревожен нечаянным открытием. Что это? Обычная рутинная проверка, которой время от времени подвергали всех сотрудников? Или контрразведка взялась за меня всерьез?

После недолгих размышлений я счел за лучшее выбросить свою находку в мусорный контейнер. Не сказал о ней ни жене, ни службе безопасности. Правда, при очередной встрече в Карлсхорсте рассказал о «клопе» своим коллегам, чем, похоже, здорово озадачил их. Они посоветовали тщательно осмотреть всю квартиру, а также еще строже соблюдать правила конспирации. Вернувшись, я добросовестно облазил все комнаты, но больше ничего подозрительного не заметил.

У нас на «Свободе» ни для кого не было секретом, что сотрудникам службы безопасности ничего не стоит зайти в отсутствие хозяев в любую квартиру и произвести там негласный обыск. В частности, по этой причине я не держал дома никакой спецтехники, кроме контейнера для фотопленки, сделанного в виде электрической батарейки. Это и была самая настоящая батарейка, питавшая током мой радиоприемник, а внутри нее существовал контейнер.

Помнится, где-то в середине 70-х, я уехал на работу, оставив в квартире свою новую подружку. После полудня она позвонила мне взбешенная:

— Кому ты дал ключи от квартиры?

— Никому я их не давал. Что произошло?

— Как это что! Я проснулась оттого, что кто-то открывал ключом дверь.

Решив, что это ты вернулся с работы, я, как была полуголая, выбежала в прихожую. И, о Боже, там стоят два совершенно посторонних человека. Они поздоровались со мной, повернулись и ушли.

— Как они выглядели?

После того как она описала мне незваных гостей, сомнений не оставалось: это были шеф службы безопасности радиостанции и один из его сотрудников.

Танька родила сына

Меня «засветил» переметнувшийся из Греции офицер нашей внешней контрразведки по фамилии Гундарев. Он точно знал, что на «Свободе» КГБ имеет своего человека. Он мог перечислить некоторые косвенные признаки, указывающие на меня. Вообще, он знал очень много. Когда он сбежал, мои руководители в Москве сразу забеспокоились и решили, что моя песенка спета. Пора домой.

23 февраля мы в Мюнхене всегда отмечали праздник Советской Армии. Кто-то, как я, действительно имел раньше отношение к советским вооруженным силам, кто-то служил во власовской армии, а кто и в белогвардейской. Раз был на военной службе, значит, празднуй. В этот день мы собирались хорошей мужской компанией и крепко выпивали.

День 23 февраля 1986 года не стал исключением. Я вернулся домой после дружеской пирушки довольно поздно. Налил себе еще полстакана водки и выпил под горбушку с соленым огурцом, вспомнив добрым словом своих воевавших когда-то далеких московских родственников.

Этот день выпал на воскресенье, а понедельник был у меня, как всегда, выходным, и я отсыпался.

Телефон разбудил меня в шесть часов утра. Где-то на другом конце провода что-то щелкнуло, пискнуло, и в ухо ворвался веселый русский голос:

— Спишь, редактор? А новости последние слышал? Танька-то родила. Пацан здоровый, весит четыре килограмма. Все тебя ждут на крестины. Гони подальше свою американскую кодлу и приезжай. Все ждут.

Ах, какой был веселый да разухабистый голос! А меня будто током ударило.

— Ладно, — ответил, — буду. И бросил трубку, словно она руку мне жгла. Это был условный сигнал тревоги. «Таня родила мальчика». Услышав такую фразу, я должен был немедленно свернуть все дела и бежать без оглядки. Бежать, пользуясь любым отработанным для таких случаев каналом. Бежать, не задавая Центру никаких вопросов, не пытаясь вступить с ним в связь и не теряя времени. Что-то случилось. Мне угрожает серьезная опасность. Эти «роды» означали конец моей 20-летней карьеры в Мюнхене.

Время — шесть утра. За окнами темно. Но я знаю, что такси под моим балконом уже ждут ранних пассажиров — на вокзал, в аэропорт, да куда угодно. Только плати… Однако я быстро справился с желанием немедленно сесть в машину и уехать

отсюда подальше. Нет, действовать так было нельзя. Мне надо заставить себя встать, как обычно. Спокойно привести себя в порядок. Прогуляться. Словом, вести себя так, будто ничего не случилось. В этом мое спасение. Если за мной следят, я ничем не должен выдать тревоги. Пусть думают, что я ничего не знаю.

В моем доме не было ничего компрометирующего. Ни-че-го! Фотоаппарат «Никон» — такой, как у любого зажиточного джентльмена. В записной книжке — адреса и телефоны легальных друзей и знакомых. Шифрблокнот, внешне абсолютно похожий на обычный блокнот для записей, я на всякий случай сжег. У меня нет ни радиостанции, ни оружия, ни таблеток с ядами, которые, как пишут в романах, шпион должен проглотить при угрозе ареста. Ничего нет.

Но зато есть другое — дорогие мне вещи, нажитые в Мюнхене за эти годы. Они дороги и в буквальном смысле. Старинные (XVIII века) первые русские гравюры. Картины талантливых художников советского «андеграунда» — Оскара Рабина, Михаила Шемякина, Олега Целкова. Икона XIX века палехской работы, тончайшее письмо. Уникальная библиотека — весь Белый архив и редчайшие, уникальнейшие тома Красного архива. Периодика русской эмиграции 20-30-х годов. Я собирал все это долго и бережно. Труды российских философов. Комплект газет власовского движения. Собрание журналов «Грани», «Посев», «Континент», «Синтаксис», «Время и мы», «22»… Что же, все бросить? Оставить здесь? Да, другого выхода у меня нет. Я могу взять только минимум, только самое необходимое.

Да, а еще моя филателия. Марки… За десять лет серьезного собирательства в коллекции появились просто уникальные экземпляры и целые серии. Вот они — шесть альбомов с тысячами марок основного и обменного фондов. Хотя бы самое ценное надо отобрать в один небольшой кляссер, хотя бы сотню самых дорогих мне марок…

С некоторыми предосторожностями открыл дверь, вышел наружу и спустился вниз. Купил газеты, выпил в баре кофе, прогулялся вокруг дома. Похоже, никто за мной не следил. Ничего подозрительного я не заметил. Тогда я взял такси и отправился в банк, где снял со счета часть денег. В туристическом бюро купил билет на послеобеденный рейс в Западный Берлин. Называя девочке свою фамилию, как обычно, промычал что-то неопределенное и в итоге по билету стал значиться вовсе не Тумановым, а кем-то вроде Кумпана.

Я решил не искушать судьбу и воспользоваться для ухода проверенным маршрутом. Хотя слова «тебя все ждут» означали, что меня готовы встретить на всех заранее обговоренных

маршрутах. Их было несколько. Однако берлинский казался мне наиболее предпочтительным, потому что при переходе границы здесь не требовалось предъявлять паспорт, а значит, риск привлечь к себе внимание был минимальным. Хотя, конечно, и там меня могли ждать осложнения.

До отлета оставались считанные часы. Надо было прощаться. Еще походил по комнатам, погладил корешки любимых книг, потрогал рамки картин, выпил вина.

Больше двадцати лет прошло с того дня, когда юный матрос Туманов под покровом ночной темноты покинул свой военный корабль и отправился в путь, конца которому не видел. Этот путь мог кончиться прямо на берегу задержи меня тогда египтяне. И ливийцы тоже были способны пресечь путешествие беглого моряка, передав его советскому посольству. Американцы из военной контрразведки во Франкфурте поверили мне, а ведь могли и не поверить. Я не имел никакого специального образования и не блистал особыми способностями, однако судьба и в дальнейшем улыбалась мне: был принят на радиостанцию «Свобода», сделал там хорошую карьеру. Меня окружает красивая мебель, на стенах висят дорогие картины. В месяц я получаю столько, сколько не снилось генеральному секретарю ЦК КПСС.

Собственно говоря, основной кусок сознательной жизни прожит здесь, в Мюнхене. И ведь не только шпионажем он был наполнен. И даже трудно сказать, чего больше было — если это можно, конечно, измерить — обычной благопристойной жизни вполне процветающего обывателя-эмигранта или нелегальной деятельности агента КГБ? Все переплелось, запуталось, соединилось воедино.

Я давным-давно перестал бояться разоблачения. Не оглядывался на улицах, чтобы проверить, есть ли сзади слежка. Не думал о том, прослушивается ли мой телефон. Да иначе было и нельзя. Если правда, что любые ощущения со временем притупляются, то чувство опасности — не исключение. Даже на фронте солдаты очень скоро перестают кланяться пулям. Если, конечно, остаются в живых. Мне казалось, что «мои» пули давно пролетели мимо. Но нет, кто-то в конце концов взял меня «на мушку».

Пора уходить.

Я вдруг поймал себя на мысли, что никогда всерьез не задумывался о возможности возвращения в Москву. То есть это всегда как бы само собой подразумевалось, но казалось чем-то далеким-далеким.

Я вышел в прихожую, взял свой нехитрый багаж, открыл дверь. И невольно усмехнулся, подумав о том, что теперь это

дверь в совершенно иной мир.

Кирилл Оживар

№ 7(60) февраль 2001 дайджест

[Опубликовано на Форуме сайта Агентура. Ру]

Юрий Крохин
Фатима Сал Казанова: открытым текстом

(Фрагменты книги, с купюрами выпущенной в 2002 году издательством «Вагриус», а в полном виде опубликованной автором в Интернете)

В мае 89-го года, в разгар горбачевской перестройки, газета «Советский патриот» опубликовала материал «Что нового на «Свободе»?», снабдив его подзаголовком «Интервью с интересным собеседником».

Олег Туманов, говорилось в публикации, 20 лет проработал на радиостанции «Свобода». Более того, стал даже главным редактором русской службы в штаб-квартире РСЕ/РС в Мюнхене. Но настал момент, когда он уже дольше не мог продолжать работать в волчьей стае гангстеров эфира. Несколько лет назад Олег возвратился на родину. И как раз вовремя, ибо там, в ФРГ, баварские власти уже выписали (правда, заочно) ордер на его арест. Время идет, указанные радиоголоса продолжают свое черное дело. Учитывая это, мы предлагаем читателю беседу нашего корреспондента с Олегом Тумановым.

— Какие все же главные, на ваш взгляд, изменения произошли на «Свободе» и «Свободной Европе»?

— Глубоко убежден, что РСЕ/РС по-прежнему остаются средствами диверсионно-пропагандистской деятельности. Более того, радио «Свобода» как и раньше, находится под контролем ЦРУ, выполняя функции разведывательного характера… Некоторые невозвращенцы, а также бывшие советские граждане охотно рвались к микрофонам, лгали, плели небылицы. Но выслужились единицы. Назову нескольких. Владимир Матусевич, нынешний директор русской службы. Скромный киновед до своего ухода на Запад. Кстати, при этом он бросил жену и маленьких сыновей. Постоянное место у микрофона «Свободы» заняли литераторы Довлатов, Войнович, Влади-мов. Активно сотрудничали в разное время Некрасов, Максимов.

Одна минута авторского эфирного времени оплачивается в

среднем 30–40 западногерманских марок. Так что за десять минут выступления можно получить сумму, достаточную для приобретения стереомагнитофона или телевизора. У некоторых есть специальные счета в банках, куда спецслужба переводит гонорары за негласное сотрудничество. Попросту за доносительство друг на друга, выполнение других «спецзаданий». Поэтому для обстановки на «Свободе» характерны взаимная подозрительность, грызня, подсиживание и недоверие.

— Что еще нового на «Свободе»?

— Если вы иногда слушаете сообщения этой радиостанции, вы, конечно, заметили резкие изменения в кадровом составе русской службы. Собственно говоря, таковой она попросту быть перестала. Русских по национальности в ней никого не осталось. Полное господство лиц, эмигрировавших из нашей страны по каналу выезда в Израиль. Поэтому даже можно сказать, что эта служба превратилась как бы в филиал радиостанции «Голос Израиля»…

Несколько слов об Олеге Туманове. Как он попал на Запад? Оказавшись однажды в итальянском порту Генуя, попросил политического убежища. Туманову было 20 лет. Ему дали американское гражданство (фактическая ошибка. — С.Ю.), «десантировали» в Мюнхен на «Радио Свобода». А вот за что баварские власти дали бывшему сотруднику РС 25 лет заочно, Туманов не пояснил. История загадочная. Есть основания полагать, что в трудный для Туманова момент КГБ угрозами или подкупом склонил его к сотрудничеству. Немецкие спецслужбы тоже не дремали. И в один прекрасный день Туманову ничего не осталось, кроме как скрыться. Отрабатывая должок КГБ, Туманов рассказывал в советской прессе, что наркомания — весьма распространенное явление на радиостанции. Начальник отдела «Самиздат» Питер Дорнан, говорит он, днем не рискует появляться на радиостанции, он работает только по вечерам. Почему? Да потому, что он наркоман. Наркотиками торгует Руслан Гелисханов, сотрудник русской редакции. Этим же занимаются Алик Кацис, Александр Перуанский. А один из комментаторов русской службы, Левин, вообще попал в неприятную историю: его с приятелем задержала полиция за перевозку на яхте большого количества оружия…

Фатима Александровна прокомментировала тумановское вранье. В частности, Питер Дорнан*, блестящий знаток советского самиздата, подвижник этого дела, действительно работал вечерами и даже ночами — читать ему приходилось мелкие неразборчивые фотокопии, слепую машинопись, и занятия эти требовали тишины и сосредоточенности. Наркотики

тут совершенно не при чем. Когда Фатима Александровна в очередной раз приехала в Москву, ей позвонил Туманов и предложил встретиться в холле гостиницы «Интурист», где она остановилась. Фатима согласилась: ей хотелось, чтобы Туманов посмотрел ей прямо в глаза и повторил то, что выдумывал для советской печати, в частности, про Питера Дорнана, который был близким другом Фатимы и к которому Олег относился с глубоким уважением. Олег Туманов, Молли Гордин (в эфире — Инна Светлова, ее убили в Праге), Ариадна Николаева и Фатима Салказанова были в начале 70-х самыми молодыми сотрудниками Русской редакции «Свободы» и дружили. («Единственное, что могу сказать в его оправдание, — заметила Фатима, — ни про кого из нас троих он не придумал для своих новых хозяев ни одной гадости».) Но в назначенный день и час Туманов не появился. То ли начальство не велело, то ли стыдно было взглянуть в глаза коллеге…

*Питер Дорнан проработал на «Радио Свобода» 35 лет. Он был основателем отдела «Самиздат» и первым издателем и редактором еженедельника «Материалы Самиздата», ставшего самым большим сводом о нарушениях прав человека в Советском Союзе, включая стенограммы судебных процессов, заявления правозащитников, политзаключенных, протоколы допросов и обысков и другие материалы. Питер Дорнан внес действительно неоценимый вклад в распространение самиздатских документов на Западе. Он трудился буквально днем и ночью, нередко по несколько суток подряд. Он умер в день Всех Святых, 1 ноября 1999 года в Пенсильвании, США.

Я хотела приехать совершенно официально, честно и открыто работать. Этой проблемой очень активно занимался тогдашний пресс-секретарь посольства СССР во Франции Константин Петриченко. По-моему, он даже пытался мне помочь. В конце концов, он сообщил мне, что визу дали. Я отправилась в командировку в Москву на месяц.

— Власти вам помогали или чинили какие-то препятствия?

— Прямых препятствий не было, но слежку установили очень суровую. За мной круглосуточно ходили два грустных топтуна. Я поселилась в гостинице «Интурист», номер в которой, конечно, прослушивался, — об этом мне шепотом сообщила, вызвав меня в коридор, одна из горничных. Но мне скрывать было нечего, так что слежка не мешала.

— Тем не менее у вас выкрали записную книжку…

— Да, но это тоже оказалось не так драматично, как может показаться. Я вышла в холл гостиницы, где у меня должна была состояться встреча с Олегом Тумановым, оставив сумку в номере.

Вернувшись, обнаружила исчезновение записной книжки с номерами телефонов. Акция была бессмысленная: звонила-то я из гостиницы, у них была возможность слушать все мои разговоры. Конечно, в тот момент я огорчилась: все контакты прерваны. Вдруг звонит Натан Яковлевич Эйдель-ман. Он подсказал мне номер телефона моей сестры, которая через своих знакомых нашла почти все нужные мне номера. Я поблагодарила Натана Яковлевича и сказала: «Надеюсь, копировальная машина у них работает, и они скоро вернут мне книжку». Так и вышло.

Быть женой советского агента

Версия Светланы Тумановой, жены Олега Туманова, агента КГБ на «Радио Свобода»

Марина Латышева:

Про радиостанцию «Свобода» с ее многочисленными филиалами когда-то говорили, что это единственный честный голос, который слышат в России (это там), или что это гнусное оружие империалистов и примкнувших к ним предателей родины (это у нас). Сейчас, по прошествии времени, и там, и у нас говорят, что агентов КГБ на радио было столько же, сколько и сотрудников ЦРУ. И вообще, только представители этих двух враждующих спецслужб там и работали. Наверное, так оно и было.

Это на уровне межгосударственном. На бытовом уровне здесь разгорались не менее драматические, по-настоящему шекспировские страсти, агенты «семейств» влюблялись друг в друга, расставались, иногда умирали. Самым знаменитым агентом КГБ на «Свободе» был редактор русской службы Олег Туманов, который 20 лет работал на станции, а затем неожиданно сбежал в Москву (по признанию бывшего шефа службы безопасности «Свободы» Ричарда Каммингса, Туманов только в 1974 году передал в СССР от 12 до 14 томов важной информации). Мне удалось встретиться с бывшей женой Туманова — Светланой.

Знакомство

Светлана была дочерью советских эмигрантов, уехавших их Риги, когда девочке было 13 лет. Она успела отучиться 6 классов в советской школе. В Лондоне она закончила филологический

факультет университета и устроилась работать в русскую службу BBC. К тому времени ее мать уехала жить в Канаду, и девушка осталась совсем одна. У нее была прекрасная работа, отличные перспективы, интересные знакомые. Она была знакома со знаменитым перебежчиком Анатолием Кузнецовым, общалась с Буковским, Бродским, Солженицыным, известными и не признаваемыми в России художниками-нонконформистами. Она вела новости на BBC. И ее жизнь, хоть и была довольно тяжелой, казалась ей сулящей много приятных неожиданностей.

Все это прекратилось в феврале 1978 года, ровно в тот момент, когда ее знакомый Влад решил познакомить ее со своим приятелем из Германии, «большой шишкой», редактором знаменитой радиостанции «Свобода» Олегом Тумановым.

[…]

Светлане было 19 лет. Но она понимала, что такое мезальянс. Она и Олег Туманов принадлежали к разным слоям общества, как бы не странно и смешно это звучало в отношении русских эмигрантов. Туманов приезжал в Лондон с одной целью (по крайней мере, она так считала) — купить себе одежду и поискать редкие монеты, встречаясь со знаменитыми лондонскими нумизматами. Туманов очень любил красиво одеваться. И предпочитал делать это в Лондоне, в знаменитом магазине «Хардос» *(автор имеет в виду универмаг «Харродс» — С.Ю.),* где покупал себе костюмы принц Уэльский. Да плюс ко всему этот редактор отдела новостей на «Свободе» имел такое дорогое хобби, коллекционирование старинных русских монет.

Итак, Светлана сначала категорически отказывалась с ним встречаться. Собственно, почему сначала? Она не хотела с ним видеться, и точка. Общего будущего у них быть не могло. И она пропустила время свидания, которое назначил Влад, осталась дома и не подходила к телефону. Она спокойно лежала и читала, когда раздался звонок в дверь. Это пришли, уже изрядно подвыпившие, Олег и Влад, решившие все-таки встретиться с девушкой. Подошли к дому, увидели в окне свет и стали трезвонить в дверь. Выхода у нее не было, пришлось открывать.

Когда она открыла дверь, первое, на что она обратила внимание, были широкие плечи Туманова. Ей сразу подумалось, что на этого человека можно положиться. Как бы не пошло это звучало. Ведь жизнь в Лондоне у нее была довольно тяжелая. Юная и от природы беспечная, она, вынужденная постоянно думать о том, как себя содержать, всегда мечтала найти такого человека, который принял на себя хотя бы часть ее забот. Туманов показался ей именно таким человеком.

Разумеется, дело было не только в этом. Эмигрантская среда

русских в Европе напоминает Нью-йоркский Брайтон-бич. Все всё про всех знают. Туманов считался на тот момент самым загадочным холостяком, самым выгодным и желанным женихом. Светлана была на 14 лет моложе его. Они провели вместе 4 дня. И после этого уже не расставались. Ни Влад, ни Туманов, ни тем более Светлана не могли предположить, что их шутка с «великосветским знакомством» обернется реальной историей любви.

Вскоре Олег вернулся в Мюнхен и сразу же позвонил Светлане сообщить, что добрался он нормально. В тот момент она поняла, что это не просто роман, что намерения у него самые серьезные. Она перестала обращать внимание на других мужчин. Ей больше никто не был нужен.

8 марта был ее днем рождения. Справляли его у друзей Олега- Алены и Николая Кожевниковых. Алена Кожевникова, к слову сказать, много позже работала в Москве и занимала должность редактора московской радиостанции «Свобода», которую после нее занял Савик Шустер.

Олег приехал и подарил девушке прекрасное кольцо, купленное (естественно) в одном их самых дорогих лондонских магазинов. И произнося тост, предложил выпить за именинницу, и чуть подумав, добавил, «за невесту». Светлана промолчала. Так состоялась их помолвка. Молоденькая девушка решила, что она встретила своего принца и пришла в восторг.

Начались официальные приготовления к свадьбе. Свадьба состоялась через две недели в Лондоне. Кожевниковы были свидетелями. Светлана даже не сомневалась, что никаких сложностей у них не будет.

Конечно, был вариант, что они поселятся в Лондоне, и Туманов будет работать в столице Англии. Как она потом поняла, наверное, так было бы лучше. По крайней мере, он не пил бы так много, этот переезд вырвал бы его из среды немецких эмигрантов-алкоголиков. В Англии люди себе такого не позволяли. А Олег, как заметила Светлана после свадьбы, выпить любил, хотя и не напивался.

Но все же они решили жить в Мюнхене. Хотя ей было не так просто уехать. Решили, что она уволится с BBC и переедет в Мюнхен. А уж потом, когда-нибудь, подумает о работе в Германии. Светлана, не задумываясь, продала свою квартиру в Лондоне, уволилась. И выехала в Германию с помощью… ЦРУ. У нее не было загранпаспорта, Олег использовал свои связи, и немецкую визу ей поставили в латышский паспорт. Некоторое время такие паспорта в Латвии были, но потом их упразднили, а вот у нее он сохранился. По приезде в Германию этот паспорт у

нее сразу забрали, чтобы не было проблем с СССР. Человека, который помог молодоженам, звали Александр Лемберский. Итак, в конце мая 1978 года они уже жили в Мюнхене.

Выбор

Их жизнь была вполне безоблачной. Но однажды Олег вернулся с работы и за ужином завел разговор о политике. Речь сначала шла о том, что иногда по выходным ему надо будет уезжать, и он не хотел бы, чтобы она думала, будто он ей изменяет. На журнальном столике в гостиной лежал раскрытый блокнот, и он нарисовал на нем два полушария. А затем спросил Светлану, как она думает, на кого он работает. Зная, что такое «Свобода», и какое отношение эта радиостанция имеет к американской разведке, она, не задумываясь, ткнула пальцем в западное полушарие. Олег промолчал, а затем предложил ей выйти на балкон проветриться. На балконе он ей сказал: «Киса, я тебя очень люблю и никогда не брошу, но я работаю на КГБ».

Две радиостанции — сначала «Свободная Европа», затем «Свобода», были организованы в начале 50-х годов. Их «отцом» был Джордж Кеннан, крупный американский историк и дипломат, посол в Советском Союзе. Целью новорожденной радиостанции Свободная Европа была попытка подорвать контроль Советского Союза над странами Восточной Европы. Затем перед Радио Свобода была поставлена задача расшатывания коммунистической системы в самом Советском Союзе. С самого начала радиостанция преуспела, особенно в Восточной Европе, где сбор информации был сравнительно прост и многочисленные перебежчики предоставляли факты, например, злоупотребления местных коммунистических боссов. Узнать что-либо о Советском Союзе было гораздо труднее вплоть до 60-70-х годов, когда советские люди начали ездить за границу.

Формально радиостанция подчинялась ЦРУ, но Госдепартамент так же оказывал влияние на содержание программ. Организационно Свобода/Свободная Европа была частью ЦРУ, она финансировалась из бюджета Центрального разведывательного управления. ЦРУ, например, выступало от ее имени в сношениях с американским правительством. Кадровые сотрудники ЦРУ состояли в штате Свободы/Свободной Европы. Разведывательное агентство поставляло часть информации, которая выходила в эфир.

Интерес к радиостанциям проявлял и КГБ. В 81-м году в мюнхенской штаб-квартире Свободы/Свободной Европы был

совершен теракт. Румынское правительство, как позже выяснилось, уплатило международному террористу Карлосу Шакалу за организацию взрыва. В 50-х годах два работника радиостанции из белорусской и азербайджанской редакции были убиты, как считается, агентами КГБ. Помимо всего прочего, КГБ и спецслужбы восточноевропейских стран внедрили в годы холодной войны своих людей во все службы Свободы/Свободной Европы. […]

Светлана немедленно испугалась. Ее пугала сама аббревиатура КГБ. По своей работе на BBC она была неплохо знакома с Марковым, болгарином, которого убили с помощью зонтика (потом во Франции был снят фильм «Укол зонтиком», продемонстрировавший специфику этого метода убийства). С Марковым Светлана пила чай в тот самый день, когда болгарского диссидента убили.

Сначала она подумала о бегстве в Лондон. Но там у нее уже ничего не было. Ни квартиры, ни работы. Уехать она не смогла. Конечно, она продолжала любить своего мужа, но от животного страха деваться было некуда. На следующее утро, когда он ушел на работу, она вышла из дома, села в трамвай и проездила целый день. Она думала, что ей делать, но ничего так и не придумала. Она думала еще неделю, а потом, сама не заметив, смирилась. Она осталась и больше ни о чем не спрашивала. Еще через пару недель он впервые уехал на выходные на одну из тех встреч, о которых он ей говорил. И Светлана меньше всего думала о том, что он ей изменяет.

Олег никогда не посвящал ее в детали своей работы. Но с тех пор ни один человек не мог устроиться на «Свободу» без ее одобрения. На «Свободе» в Мюнхене было два персонажа, без подписей которых никого на работу не принимали. Это некий американец, начальник русской службы радиостанции, и Туманов. Кандидаты на работу обязательно приглашались домой к Тумановым. И если они нравились Светлане, вопрос об их трудоустройстве фактически был решен. За следующие 8 лет Светлана познакомилась со всеми журналистами «Свободы». Она свыклась со своей ролью. Это были приятные, интеллигентные, образованные и люди, с которыми приятно общаться. Связь ее семьи с КГБ оказалась совсем не такой страшной, как рисовалось ей поначалу.

Учительница первая моя

А потом она нашла себе работу. В американской

разведшколе.

В 1981 году ее пригласили преподавать русский язык и литературу в «Fitce foreign languade training center Europe» [автор имеет в виду FLTCE (Foreign Language Training Center, Europe) — С.Ю.], школа по подготовке американских офицеров разведки. Там же учились и будущие военные атташе. Светлана преподавала в двух группах. Одна — военные разведчики. Вторая — гражданские, в основном, будущие сотрудники NSA (Агентства национальной безопасности). Светлана была довольна. Это была элита американской армии и разведки, очень образованные люди из прекрасных семей. Она чувствовала их огромный интерес к России. Разумеется, это был интерес к стратегическому противнику. Но параллельно они искренне восхищались русской литературой и историй, трепетно изучали русскую кухню, читали Бродского и обсуждали вместе со своей учительницей прошлое России и Америки, исторические связи этих двух стран. Она рассказывала им, что последний русский царь Николай II был самым крупным владельцем пакета акций американской железной дороги, что во многом Америка строилась на русские деньги. Светлана чувствовала, что для этих людей Россия — великая страна, пусть и враждебная. Они были умными людьми и не закрывали глаза на очевидные факты. Ей было невероятно обидно, что после полугода учебы они все отправились на месяц на стажировку в Россию, а она не могла этого сделать. Они привезли любимой учительнице кучу сувениров Олег был очень недоволен. Потому что ее работа фактически стала причиной начавшегося в семье разлада. Она всегда помнила, что с учениками не стоит говорить о работе Олега. Он никогда не расспрашивал ее о работе. И все же он был против. Начнем с того, что он вообще был против того, чтобы она работала, он считал, что вполне может содержать семью. А ей, как и всякой нормальной женщине, хотелось реализовать себя где-нибудь еще кроме кухни. Конечно, он никогда ее не проверял, студенты Светланы часто приходили к ним в гости, и взбучки от начальства он не боялся. Некоторые из студентов связывались потом с Олегом напрямую. На «Свободе» был отличный архив, и они хотели прийти на радиостанцию и спокойно поработать. Он им помогал. Но не часто. Все же неприятностей с «центром» ему не хотелось.

Это сейчас Светлана говорит, что он не пытался их вербовать. Можно было бы засомневаться в ее словах — вряд ли КГБ упустил бы такую возможность. И все же это похоже на правду. Военную разведку курировали сотрудники ГРУ Минобороны. Между ГРУ и КГБ всегда существовали, мягко говоря, напряженные отношения.

И в сферы друг друга разведчики предпочитали не вмешиваться.

И все же их любовь столкнулась с серьезным испытанием. Темпераменты у супругов были разными. Олег был домоседом, а Светлана, что называется, тусовщицей. Она постоянно ездила вместе с учениками то в русскую общину в Бельгии, то в Швейцарию, на Чертов мост, где Суворов спустился с Альп. Их жизнь осложнило еще и то, что в нее влюбился один из ее студентов. Американец развелся с женой и попросил Светлану выйти за него и уехать с ним в США. Для нее это был краткосрочный флирт, не более. Она понимала, что хочет остаться с мужем. Но Олег очень переживал. Он все больше замыкался, стал чаще выпивать.

Но вот контракт истек, и больше ее не приглашали. Светлана не расстраивалась. В тот момент она узнала, что беременна. И ничего больше ее не волновало. Казалось, все наладилось. Дочь Александра (названная в честь отца Олега) родилась в 1982 году. Но когда ей исполнилось полгода, летом 1983-го, Светлану опять нашли американские разведчики из того же учебного заведения.

На этот раз ее пригласили работать в филиал американской разведшколы в Мюнхене — US Army Russian institute. Может быть, сначала работа ей показалась более скучной — здесь учились сержанты, люди попроще и без претензий. Зато, выражаясь советским языком, это было рядом с домом. Потом Светлана поняла, что на самом деле работа была интереснее. Она уже не преподавала русский, а была ассистентом командующего школы. Чтобы ее взяли на работу, для начала ей пришлось пройти детектор лжи. Она, конечно, волновалась, но прошла. Потом ей сказали, что детектор показал лишь один сбой. Дескать, она лгала, когда говорила, что у нее нет любовников. К слову сказать, в этом вопросе она как раз не солгала.

Теперь она занималась организацией учебного процесса, подбором персонала, ежемесячно встречалась с делегатами из штаб-квартиры военной разведки из Вирджинии (США). Ее шеф, полковник, имя которого она сейчас отказывается даже вспоминать, очень гордился, что ассистентом у него — жена старшего редактора русской службы «Свободы». Каждые выходные в школе устраивали барбекю. Олег там тоже бывал. Был тих и скромен — очень стеснялся говорить по-английски. И все же Тумановы привлекали всеобщее внимание — красивая пара, знаменитый муж, молодая игривая жена… Их дочь воспитывала няня — жена одного из студентов Светланы. Тумановы хотели, чтобы Александра учила правильный английский. Вскоре в разведшколе ей присвоили гриф «Секретно» — американцы готовили прибалтийское направление, и ее знания Риги могли

очень пригодиться. В общем, жизнь удалась.

Это была видимая половина их жизни. О невидимой никто из ее немецких знакомых не знал. Когда Светлана готовилась подписать этот контракт, она волновалась, как отнесется к этому муж. Муж неожиданно проявил полное понимание. Оказалось, он уже связался с центром и получил добро на работу вместе с женой. Теперь на встречи со связными по выходным он брал и свою жену. На эти встречи всегда приезжали двое. Один общался с Олегом, второй — со Светланой. Особого нажима со стороны КГБ не было. Светлана сама исправно поставляла информацию о своих студентах, будущих офицерах NSA.

И Олег по-прежнему продолжал ревновать ее к студентам. Правда, на самом деле поводы для ревности были скорее у нее. Олег ей не изменял. Но в отношениях с некоторыми своими сотрудницами, которых он также завербовал для работы на КГБ, он был вынужден проводить хитрую и двойственную политику и давать им повод думать, что роман между ними возможен.

Из интервью бывшего шефа службы безопасности «Свободы/ Свободной Европы» Ричарда Каммингса: «Агента звали «Марина», и была она одним из самых ценных приобретений КГБ в рядах «Свободы» за последние десять лет. А завербовал «Марину» внедренный на «Свободу» агент КГБ, которого она искренне и сильно полюбила… […]

Олег продолжал пить. Однажды на одной из встреч со связниками Светлана попросила отправить его на недельку в Москву. Она надеялась, что он встретится с родителями, сходит к хорошему психоаналитику, и это поможет ему прийти в себя. Он уехал на неделю, потом вернулся. Но это мало что изменило.

Развод

Наступил февраль 1986 года. Американцы предлагали Светлане повышение, но для этого требовалось переехать в США. Туманов наотрез отказывался ехать. Потом отказалась и Светлана.

К тому моменту Олег предложил ей жить раздельно. Они по-прежнему любили друг друга, но он понимал, что дочери ни к чему видеть его пьянство. Светлана занялась поисками квартиры. Она сняла небольшие квартирки в соседних домах для мужа и для себя с дочерью. Это был не развод, а брак с раздельным проживанием. Правда, на развод он все же подал. Думал, что если Светлана все же решит ехать в США и делать карьеру, если она кого-то полюбит, он не имеет права стоять у нее на пути. Он

сказал ей, что ему это очень тяжело, но он должен это сделать. Они договорились, что в любом случае ни один из них не сможет уехать из Германии, не сказав другому. Кроме квартир у них все оставалось общим: общее имущество, общие счета, общая работа, дочь. Соседи говорили Светлане, что часто видели редактора русской службы «Свободы» пьяного и плачущего под дверью квартиры, где поселилась его семья.

Тогда Светлана еще не знала, что его шантажируют. Что женщина, которую он пытался завербовать, отказалась сотрудничать и наоборот стала угрожать разоблачением и требовать денег. Разведясь, он обезопасил свою жену, обезопасил их общее имущество, сказав шантажистке, что он все оставил бывшей супруге.

А через 6 недель после того, как было официально объявлено о разводе, он пропал.

Сначала никто не волновался, но уже через несколько дней к ней официально обратились из службы безопасности радиостанции. Шеф службы безопасности г-н Каммингс официально запросил бывшую супругу одного из главных лиц на «Свободе», где может находиться ее муж.

Светлана подозревала, что Туманов может быть в Москве. Естественно, она ничего не сказала. После чего в квартире Олега был обыск. Интересный эпизод — во время обыска, пока спецслужбы обследовали спальню, Светлана успела буквально не себе спрятать некоторые документы Туманова, надеясь, что он еще может вернуться, и тогда эти бумаги ни за что не должны попасть в руки службы безопасности. Тогда она еще верила что он, если и не вернется, то хоть как-то проявится.

И он проявился. Вскоре состоялась его пресс-конференция в Москве. На ней он выдал себя за «блудного сына», рассказал о своей работе на «Свободе». И, как все прекрасно понимали, уже вне пресс-конференции в закрытых кабинетах рассказал все, что знал, о своих сотрудниках на «Свободе». Светлана поняла, что стоит ждать ареста. Вечером того же дня она отправилась в советское консульство в Бонне и попросила вывезти ее и дочь. В консульстве ее успокоили, сказали, что ордера на ее арест нет, и пусть она не дергается.

Она вернулась домой. И на следующий день узнала, что ее уволили с работы. Она попыталась восстановиться, но ее шеф, тот самый, который так гордился сотрудничеством с женой русского со «Свободы», даже не пожелал ее видеть. Он спасал свою карьеру. Ее поддержали лишь немногие из ее бывших друзей. Это Александр Лемберский (тот самый, который ко-гда-то помог ей переехать из Англии в Германию), Николай Петров, друг ее мужа

с радиостанции, и некоторые другие. Она так ожесточенно сражалась за свое право работать там, где ей хочется, что даже газеты писали тогда о «простой русской», муж которой оказался шпионом, но сама она, честная женщина, хочет нормально жить и работать и воюет с «американскими боссами».

А в один прекрасный день ей, как ни в чем не бывало, позвонил ее связник и попросил подъехать в Берлин. Это был их обычный способ связи. В Берлине, на станции метро «Фридрихштрассе» можно было войти в неприметную дверь и попасть из Западного в Восточный Берлин и обратно.

Она прибыла на место, встретилась со связником. А когда вернулась, через сутки ее арестовали. Это был октябрьский день, 6 часов утра. К ней в квартиру пришли сразу человек 10–12. Они так резко стучали в дверь, что она испугалась и сразу открыла. Это были те же самые люди, которые вели следствие по делу ее мужа. Вернее, бывшего мужа. Светлана сама тогда не понимала, бывший он ей муж или нет. Она осознавала, что он предал ее. Но где-то в глубине души она надеялась, что у мужа были некие соображения, которые ей неизвестны.

Она оказалась в тюрьме. Баварские тюрьмы — места малоприятные и очень напоминают наши тюрьмы: без горячей воды, с дурной пищей и неприязненными отношениями между соседями по камере. Правда, политическим там легче. Светлана сидела в камере с девушкой из знаменитой «Фракции Красной армии». В одной камере оказались вместе террористка и шпионка КГБ.

В это время дочь Тумановых Саша жила практически одна. Знакомые боялись и не хотели взять ее хотя бы на время следствия. Она поселилась у воспитательницы из своего детского сада.

Что касается следствия, то Светлана уже через 48 часов после ареста была представлена прокурору. Ничего кроме пересечения границы между Западным и Восточным Берлином ей не могли инкриминировать. Но поскольку были свидетели-американцы ее «перехода границы» в метро на Фридрихшт-рассе, то ее не выпустили под залог, а оставили в камере. Она сидела в тюрьме полгода. Затем был суд и приговор — 5 лет условно.

Финал

После освобождения Светлана пыталась попасть в Москву и найти мужа. Да и в Германии делать ей было больше нечего. Она сумела получить визу только тогда, когда в самом разгаре была

перестройка, и лидеры Германии и СССР готовились разрушить Берлинскую стену. В 1988 году она приехала в Россию и нашла Олега буквально за сутки. Вместе с дочкой они приехали к брату Олега Игорю Туманову, он очень обрадовался и немедленно дал ей адрес. Она не видела Олега два года.

Когда они приехали к нему в его маленькую квартирку, он очень обрадовался дочке. Но говорить не пожелал. Он был пьян, но у него хватило мозгов понять, что лучше увидеться утром.

Утром они все же встретились. Олег приехал сам. Он рассказал, что он больше не работает, не занимается коммерцией, что он на пенсии, что ему очень плохо. Светлане было его жаль. Он опускался, нищенствовал. К тому времени он дошел до того, что без зазрения совести брал деньги с их общего счета, не понимая, что грабит собственную дочь.

Светлана простила его. Она видела, что он уже не способен контролировать себя. Она решила, что будет жить между Мюнхеном и Москвой и постоянно приезжать к нему. Со стороны они казались семьей. В России их повсюду приглашали вместе. Олег по-прежнему был интересным собеседником, но уже был неадекватен. Он не думал о будущем, жил сегодняшним днем.

У Светланы сохранился вид на жительство в Германии. Там училась в мюнхенской школе ее дочь. Правда, в 1993 году ее восстановили в российском гражданстве. В 1993 году, когда истек условный срок ее наказания, она приехала в Россию. Дочь оставалась учиться в Германии.

И тут Олег предал ее снова. В 1993 году вышла его книга. Где он подробно расписал, как он пользовался связями Светланы в американской разведшколе, расписал ее любовные похождения. Светлана говорит, что все это неправда. Но узнать, зачем он сделал это, она не успела. Вскоре Олег Туманов умер.

Эта книга повредила многим. Начиная с Саши, которую ее мюнхенские одноклассники стали дразнить «дочерью шпионов». Ей было 12 лет, и рядом с ней учились такие же дети, которые ничего не понимали. Скорее всего, они просто слышали, что говорили дома их родители, а потом повторяли. Саша поехала в Канаду в гости к бабушке, а потом написала маме, что хочет там остаться. Потому что в Канаде «добрые дети». Так Саша стала канадкой. В книге Туманов упоминает с десяток студентов Светланы. Сегодня она совершенно точно знает, что от этих признаний пострадала карьера ее бывшего ученика подполковника Фонда, брата знаменитой актрисы Джейн Фонда.

Все эти года она жила на прежние сбережения. Она с помощью московских друзей стала организовывать в Германии семинары, посвященные России. Эти семинары проводились на

очень высоком уровне — их посещали министры, члены Баварского правительства. Постепенно Светлана наладила торговые связи между средним и мелким бизнесом России и Германии. В общем, она нашла себя, она не пропала.

Ее дочь так и живет в Канаде. До недавних пор была жива мама Светланы, бабушка Саши. Она и вырастила девочку, определила ее в канадскую школу. Потом Саша поступила в университет, учится на архитектора. Она очень хочет сделать карьеру, ее работы уже покупают некоторые галереи в Канаде. Сейчас ей 18 лет. Бабушка ее умерла. До недавних пор Саша избегала общения даже с матерью. Ей было очень плохо и просто хотелось все забыть. Сейчас она пишет матери и созванивается с ней, пишет, что у нее до сих пор бывают нервные срывы, но уже реже. Она просит написать ей про отца, просит рассказать, что еще было в их жизни такого, чего она по своему малолетству не понимала. И все же пока она с матерью видеться не хочет. Пока она готова, что называется, лишь принимать информацию.

Светлана последние годы почти безвылазно была в Москве, продолжала заниматься бизнесом. На всяческих семинарах и выставках она регулярно видит то одного, то другого персонажа из своей прошлой жизни.

Она виделась с полковником, своим бывшим шефом в американской разведшколе. Он перед ней извинился, но Светлана не знала, что ему сказать. Он извинялся из вежливости, он уверен, что поступал с ней нормально. Она видела Александра Лемберского незадолго до того, как этот один из немногих настоящих ее друзей умер от рака. Лемберский рассказал ей то, что она не знала. Он был для Туманова новым Меркуцио, верным другом, умершим, но не отказавшимся от этой дружбы. Он курировал Олега с момента его побега с теплохода в Ливии. Именно он приехал за ним в Ливию и вывез его во Франкфурт. Может быть, именно этому человеку обычный матрос с корабля обязан своей блестящей карьере на самой знаменитой антисоветской радиостанции. И хотя Туманов в своей книге отзывался о своем добром гении не очень хорошо, Лемберский попросил Светлану передать Олегу привет (Тогда Туманов был еще жив), сказать, что он, Сашка Лемберский, по-прежнему его любит.

Недавно в США вышла книга «Транслируя свободу: триумф Радио «Свобода»/Свободная Европа в холодной войне». Ее автор — Арч Паддингтон, ныне сотрудник правозащитной организации «Фридом Хаус», с 85-го по 93-й год был заместителем директора нью-йоркского отделения Радио. И по его мнению, миссия радио «Свобода» еще не завершена.

Из интервью с мистером Паддингтоном: «Миссия Радио Свобода будет завершена только тогда, когда во всех этих странах появится по-настоящему свободная пресса, которая надежно ограждена от вмешательства власти. До тех пор, пока угроза свободе прессы будет сохраняться в странах, где демократические основы так хрупки, как, например, в России, до тех пор миссия Радио Свобода останется незавершенной».

Интернет-форум по статье:

Виктор

90 % статьи — выдумки самой Тумановой (настоящее имя Ета Кац, Ета Дритц) не имеющие с действительностью ни чего общего. Вся эта мышиная возня с одной целью — привлечь к себе внимание, попытаться заинтересовать собой доверчивых «лохов» и «кинуть» их на деньги… АФЕРЮГА НЕСУСВЕТНАЯ… точнее про неё не скажешь. Берегитесь этой дамочки… и уж если в своё время она умудрилась продать за деньги собственную дочь, то вас продаст с потрохами при первой возможности…

Да уж, вот это история) (ИМХО: очень похоже на женскую солидарность- автору то ближе «женские истории» типа («…а ей как и всякой нормальной женщине, хотелось реализовать себя где-нибудь еще кроме кухни…»).

Жена вся такая верная и правильная, а муж работает на да ещё и пьёт, и всё что «жена» не делает всё ради счастья дочери.

К сожалению, а может (скорее всего) и к счастью жизнь намного многограннее и «однобокий» взгляд только вводит в заблуждение. Поэтому до объективной или хотя бы более менее правдивой истории данная история не дотягивает, и получается нечто вроде «Пётр 1 был плохим потому, что наливал и заставлял пить бояр», а всё остальное побоку.

Джексон

Ну ребята, жены во первых бывают не у всех, да и задачи разные. А у легалов очень часто жены поддавались вербовке из-за одиночества и элементарной зависти. Оклады и возможности были разные. А Родину, конечно, любить можно, но при этом ненавидеть свое Государство.

Легенды и мифы для детей, а взрослым нужна правда. [Опубликовано на сайте Агентура. Ру)

Василий Крупский
Люди Лубянки на «Свободе»

Агенты КГБ внедрились в один из главных американских центров психологической войны.

Этот апрельский вечер 1986 года надолго запомнился ветеранам «Свободы/Свободной Европы». Небольшой ресторан, который сотрудники радиостанции называли «кантина», был заполнен до отказа. «Кантина» находилась в подвале хорошо известного жителям Мюнхена двухэтажного белого дома, в котором раньше размещался американский военный госпиталь. Расположенное в живописном Английском парке на левом берегу Изара здание было обнесено высоким каменным забором, затянутым сеткой и колючей проволокой, с установленными по периметру камерами видеонаблюдения. Ночью этот дом весь светился в лучах прожекторов, напоминая белоснежный корабль.

В тот раз посетители «кантины» собрались не на корпоративный праздник или дружескую вечеринку по случаю дня рождения кого-нибудь из сотрудников. Они смотрели не на кружки с крепким баварским пивом и не на тарелки с хрустящим венским шницелем, а на большой экран телевизора. Он был настроен на Центральное телевидение СССР. Все ждали трансляции пресс-конференции бывшего главного редактора Русской службы Радио «Свобода» Олега Туманова, вдруг бесследно исчезнувшего, а потом неожиданно объявившегося в Советском Союзе… Находился там и руководитель службы безопасности радиостанции Ричард Каммингс. Недавно господин Каммингс согласился ответить на вопросы журналиста, в недавнем прошлом сотрудника Белорусской, а затем и Русской службы «Свободы».

— Ричард, вы, как, впрочем, и я, появились на радиостанции в самом начале 80-х. Что в то время представляла собой «Свобода»? И была ли она на самом деле «шпионским гнездом», как утверждала советская пропаганда в период эпохи холодной войны? Кстати, один из бывших сотрудников радио как-то назвал «Свободу» «идеальным местом для контактов между конкурирующими разведслужбами». В то время такое заявление показалось мне, мягко говоря, передергиванием. И тем не менее…

— В те годы радиостанция «Свобода/Свободная Европа» была органической частью напряженной политической игры, в которой активно сталкивались интересы разведывательных служб самых разных государств. Каждый, кто хоть немного жил в Мюнхене,

знает, что Мюнхен — не Германия. Это совсем другая страна. Мюнхен тех лет был не воспетой до сих пор столицей европейского шпионажа, которой уступал даже Западный Берлин с его бесчисленными резидентурами разведок разных стран.

Если внешняя разведка ФРГ — Bundesnachrichtendienstes (BND), штаб-квартира которой находится в мюнхенском пригороде Пуллах, поставляла мастеров слежки, шифровки и разгадывания кодов, то радиостанция «Свобода» тех лет была средоточием эмигрантов всех мастей с различными судьбами. К сожалению, архивы времен начала деятельности радиостанции либо уничтожены, либо до сих пор являются засекреченными. Но совершенно очевидно, что одной из целей создания радиостанции была борьба с советской пропагандой и стремление пронести через вой глушилок альтернативную информацию, которой были лишены люди за «железным занавесом».

— Ничего не скажешь, благородная цель. Только мне не очень-то верится, что Госдепартамент США выбрасывал в эфир десятки миллионов долларов только для того, чтобы среднестатистический советский гражданин знал, что творится в Зимбабве или кто в очередной раз претендует на кресло президента Франции. Да, Вашингтон утверждал, что Радио «Свобода» создано исключительно для передачи объективной информации в страны с коммунистическим режимом. Москва, в свою очередь, заявляла обратное. Кто, по-вашему, был прав?

— Идея создания радиостанции, которая вещала бы из Германии на Советский Союз, была впервые выдвинута в августе 1946 года Государственным департаментом США. Однако она тут же была похоронена тогдашним командующим американскими оккупационными войсками в Берлине генералом Лю-циусом Клеем. Тот считал, что подобный шаг не соответствовал букве и духу соглашения по Германии, заключенному четырьмя державами — победительницами во Второй мировой войне.

Однако уже в декабре 1947 года Совет по национальной безопасности США издал директиву «NSC 4-A», обязавшую директора ЦРУ «инициировать и руководить в рамках наличных фондов тайными психологическими операциями, направленными на противодействие деятельности Советского Союза, представляющей угрозу для мира и безопасности на планете». Кроме того, директор ЦРУ должен был гарантировать, что психологические операции не будут противоречить внешней политике США.

По мнению американских специалистов, наиболее эффективным в ведении психологической войны против СССР было бы использование недавних эмигрантов. Тысячи бывших

советских граждан, по разным причинам покинувших родину, жили в те послевоенные годы в самых разных городах Европы и в многочисленных лагерях для перемещенных лиц. Именно им и была дана возможность нанести пропагандистский удар по нашему «главному противнику».

Впервые «Освобождение» — так вначале называлось Радио «Свобода» — вышло в эфир 1 марта 1953 года. Трансляция велась с небольшого передатчика «Барбара» в Лампертхайме, что в 30 км от Мюнхена. Первая передача была нацелена на советские войска в Восточной Германии и на Австрию. Ровно через десять минут началось активное глушение передач станции, сыгравшей свою, особую роль в истории СССР, а именно в ведении активной пропаганды против советского режима.

— Но вернемся к более позднему периоду нашей с вами деятельности на радиостанции. Все пятнадцать лет моей работы на «Свободе» не прекращались шпиономания и взаимные подозрения в работе на Советский Союз. От подобных подозрений не был застрахован никто: стоило лишь заикнуться, что есть и положительные стороны во внешней и внутренней политике СССР, даже в годы перестройки тебя немедленно записывали в агенты КГБ. Меня, например, считали то сотрудником ЦРУ, то майором КГБ, периодически добавляя (или убирая) звездочки на погонах. Вместе с тем не являлось особым секретом, что советская разведка периодически пыталась внедриться на «Свободу» и создать там свою агентурную сеть. Судя по скандалу с Олегом Тумановым, ей это в конце концов удалось. Господин Каммингс, в чем, по-вашему, заключалась основная цель внедрения агентуры на станцию, чья деятельность не могла иметь особого эффекта?

— Действительно, внедрение агентуры было одной из главных задач внешних служб советской разведки. Мне кажется, что лучше всего об этом рассказал бывший генерал КГБ Олег Калугин, который долгое время «вел», т. е. курировал «Свободу» и наверняка знал о станции то, чего не знали другие, в том числе многие ее сотрудники. Вы, наверное, помните тот памятный визит генерала на радиостанцию, состоявшийся в 1993 году, незадолго до ее перевода в Прагу.

Итак, по словам генерала Калугина, его задачей было создание агентурной сети среди сотрудников «Свободы». «Даже если мы не могли контролировать характер ее радиопередач, — признавался генерал, — у нас всегда оставалась возможность узнать, что происходит на «Свободе», лучше изучить методы работы ЦРУ и по возможности смягчить удары, направленные против нас. За мои десять лет работы в иностранной

контрразведке нам удалось внедрить в структуры «Свободы» несколько весьма ценных агентов. Но нашим лучшим агентом был сотрудник радиостанции по имени Олег Туманов, у которого была крайне запутанная история контактов с КГБ, продолжавшаяся до середины девяностых годов».

— И вот тут мы переходим к самому крупному скандалу в истории радиостанции, к скандалу вокруг Олега Туманова… И я, и многие мои коллеги хорошо помним этого бывшего моряка, дезертировавшего с боевого корабля у берегов Ливии и сделавшего затем «крутую» карьеру на радиостанции. Несомненно, Олег был весьма одаренным человеком. Он вдобавок занимал прекрасно оплачиваемый пост главного редактора Русской службы Радио «Свобода», которая имела ведущее положение среди прочих национальных служб. Правда, Олег пил, но это не помешало его продвижению по служебной лестнице. Он был завербован советской разведкой и долго снабжал ее полезной для Москвы информацией. Кто вел Туманова, кто его завербовал? Что заставило этого преуспевающего человека бросить роскошную квартиру, баснословно дорогую коллекцию монет и русских икон, наконец, банковский счет и сбежать назад в сотрясаемую социальными бурями перестройки Москву?

— Предыстория его ухода такова. По признанию Олега Калугина, через его отдел ежегодно проходили тысячи перехваченных писем. Однажды внимание сотрудников управления внешней контрразведки привлекло послание, адресованное Олегом Тумановым одному из своих родственников. «Возможно, я совершил самую большую ошибку в моей жизни…» — говорилось в письме. Калугин и его сослуживцы убедили родственника ответить Туманову и сообщить о звонке из КГБ, что еще не поздно исправить то, что он натворил.

Один из родственников Туманова, сотрудничавший с КГБ, провез письмо в Австрию, нашел Туманова и попросил Олега прочесть послание. Прочитав письмо, Олег заявил, что он заинтересован в работе на советскую разведку и в возвращении в Советский Союз. После этого этот агент представил его работавшему в Вене офицеру госбезопасности. Офицер передал Туманову, что, прежде чем возвращаться в СССР, он должен устроиться на радиостанцию «Свобода». Существует две версии: КГБ завербовал Туманова после того, как он стал сотрудником радиостанции, или же его специально направили за границу с целью проникновения в структуры «Свободы». Какой бы ни была правда, бесспорно одно: Олег Туманов пришел на Радио «Свобода» в далеком 1967 году. Остальное вам известно.

И еще одна небольшая, но весьма существенная деталь.

Однажды Олег Туманов и его «кураторы» из КГБ допустили грубую ошибку, едва не приведшую к провалу. Один из агентов передал сотруднику «Свободы», которого считали подходящим для вербовки, пакет, содержащий задания разведывательного характера. Это был «прокол», которого всегда так боятся разведчики-профессионалы. Сотрудник, который работать на КГБ не собирался, открыл пакет и обнаружил в нем письмо (немедленно им прочитанное) и несколько проявленных фотопленок с текстами на русском языке. Пленки были спрятаны под обложкой записной книжки. На них имелись вопросы, на которые следовало ответить потенциальному агенту: 1. Каковы нынешние задачи радиостанции «Свобода» и ее планы на ближайшее будущее? 2. Информация о новых руководителях Русской службы радиостанции «Свобода» и о кадровых перестановках. 3. Борьба «сионистов» и русских националистов («русофилов») из числа сотрудников Радио «Свобода/Свободная Европа», их проблемы и разногласия. 4. Сотрудники ЦРУ на радиостанции. 5. Изменения в бюджете станции. 6. Связи радиостанции «Свобода» с другими западными идеологическими центрами и издательствами. 7. Характер отношений между штаб-квартирой «Свободы» в Мюнхене и ее филиалами в США, Париже, Риме, Брюсселе и Лондоне. 8. Ситуация на «Свободе» в целом.

Кроме этого, в пакете была инструкция, как использовать необходимые для тайной переписки «невидимые» чернила. Переписываться рекомендовалось по-немецки. Там же находились имена и адреса контактов в Восточном Берлине.

— Что, собственно, послужило причиной бегства Туманова в СССР? Что привело к такому резкому повороту в судьбе хорошо законспирированного и занимающего завидное положение агента, на внедрение которого было положено столько усилий?

— Весной 1986 года офицер советской разведки Виктор Гундарев заявил в Афинах о своем решении не возвращаться на родину. Первое сообщение об этом появилось в европейских газетах ровно через неделю после того, как началось «выкачивание» сотрудниками ЦРУ из 50-летнего полковника КГБ полезной информации. Почти сразу же в лондонском аэропорту Хитроу был арестован отставной офицер ВМС США Джон Ботвелл «за нарушение британских законов о режиме секретности». Тогда сообщалось, что Ботвелл шесть месяцев в году проводил в Афинах, а остальные полгода — в Англии. Арест Ботвелла был непосредственным результатом работы с Гундаревым, которого допрашивали за океаном. Уход полковника Гундарева на Запад привел к разоблачению нескольких внедренных на «Свободу» агентов КГБ. Самым важным из них был Олег Туманов.

Как утверждал Гундарев, Олег Туманов действительно был перебежчиком, осевшим после «обработки» в Германии в одном из спеццентров под Франкфуртом. Через год офицеры КГБ нашли Туманова в Мюнхене. Руководство управления «К» (контрразведка) приказало представителям КГБ в Карлсхор-сте (Восточный Берлин) вступить с Тумановым в контакт. Офицер КГБ встретился с Олегом и передал ему письмо от родителей. Отец Олега, высокопоставленный советский чиновник, умолял сына или начать сотрудничество с КГБ, или взять на себя ответственность за гибель отцовской карьеры. Ответом было согласие Олега. Полная вербовка Туманова завершилась к 1972 году. Материалы о радиостанции Туманов передавал во время встреч с офицерами КГБ в Вене, Восточном Берлине и Хельсинки, но никогда на территории Западной Германии.

Через Туманова к представителям советской разведки попали личные дела сотрудников радио и служебные документы конфиденциального характера. Только в 1974 году Олег передал советской разведке от 12 до 14 томов важной информации. В 1974 году исполняющим обязанности начальника отдела, курировавшего Туманова, был назначен полковник Виктор Гундарев. Узнав о бегстве куратора на Запад, Олег Туманов спешно вылетел в Восточный Берлин, где обратился в резидентуру КГБ за советом. Ему было приказано возвращаться в Мюнхен. Однако именно тогда поступила информация об аресте Ботвелла. Было решено, что ситуация для Туманова становится чересчур опасной, и ему предложили вернуться в Советский Союз.

— Но ведь после ухода Туманова в Мюнхене остались его жена и дочь. Кстати, какова дальнейшая судьба жены Олега Туманова Светланы, работавшей в одном из штабов американской группировки в Баварии?

— Она была арестована и приговорена к тюремному заключению за попытку вербовки дислоцированных в Мюнхене американских военнослужащих.

— Незадолго до передислокации радиостанции из Мюнхена в Прагу трагически ушла из жизни одна из сотрудниц Русской службы. В то время по коридорам «Свободы» ходили упорные слухи, что с ней не все было чисто, что и она работала на КГБ. Честно говоря, слухам этим я не верил: уж больно маленькую должность она занимала. Но ведь нет дыма без огня, не так ли? Что же происходило за кулисами и кем на самом деле была та незаметная сотрудница?

— У нее было агентурное имя «Марина». Она стала одним из самых ценных приобретений КГБ в рядах сотрудников «Свободы» за последние десять лет. А завербовал «Марину» внедренный на

«Свободу» агент КГБ, которого она искренне и сильно полюбила. Затем, как это часто бывает, любовь постепенно угасла, но Марина продолжала вести двойную жизнь, играя роль секретного агента времен холодной войны.

Честно говоря, если бы была возможность, эта женщина с таким же энтузиазмом работала бы и на ЦРУ или на любую другую западную разведку. Идеология и деньги не играли в ее деятельности ни малейшей роли. Ей нравились сам процесс и важность совершаемого. «Я наслаждалась ощущением опасности!» — как-то призналась она мне. А КГБ четко использовал ее слабости и чувство самовлюбленности.

Раз в месяц по выходным «Марина» направлялась в Австрию, главным образом в Вену, где передавала сотрудникам разведки информацию и документы. Ее задачей была поставка внутренних документов, телефонных справочников и т. д. Во время одной из встреч «Марине» предложили завербовать сотрудника Русской службы, которого она хорошо знала и у которого была единственная, но пламенная страсть — кокаин. «Марина» заявила, что этот человек из-за его увлечения наркотиками абсолютно непредсказуем и поэтому вербовать его нельзя. По ее признанию, то был единственный случай, когда КГБ попросил завербовать коллегу по Русской службе.

— Ничего себе история! Я прекрасно знал эту женщину и никогда даже в самых смелых предположениях не мог бы представить, что работаю вместе с доморощенной Матой Хари, с агентом, следившим за каждым нашим шагом. Теперь ясно, почему регулярно поливавшая нас советская пресса так хорошо была осведомлена о самых интимных деталях происходившего на радиостанции…

— Вот так-то! Однажды «Марина» прилетела в Берлин и в соответствии с инструкцией прошла через «секретные» двери на станции метро «Фридрихштрассе». Это была единственная линия, соединявшая восточный и западный секторы Берлина после возведения стены. На станции постоянно дежурили сотрудники восточногерманской полиции и секретных служб.

Агенты обычно входили в один из магазинов, где подвергались предварительной проверке спецслужбами. В глубине магазина была хорошо замаскированная дверь, через которую они и попадали в Восточный Берлин. Там «Марину» уже ждали два офицера КГБ, доставившие ее прямо в аэропорт Восточного Берлина. «Марина» получила поддельный паспорт на имя «Ирина».

Проходя через пограничный контроль в Москве, «Марина» от волнения забыла данное ей КГБ имя и не смогла ответить на

вопрос, кто и когда выдал ей этот паспорт. Офицер-пограничник внимательно на нее посмотрел и… без лишних вопросов пропустил в зал. Она воспользовалась тем же паспортом для полета из Восточного Берлина в Милан.

Перед возвращением в Мюнхен «Марина» сожгла фальшивку и дальше ехала по своим немецким документам. Во время тайных встреч в гостиницах специалисты КГБ обучали ее секретам тайнописи и пользованию одноразовыми шифрами. Однако из-за ее неспособности постичь специфику профессии от обмена письменной информацией решено было отказаться, и связь с агентом стали держать через посредников. В случае опасности она должна была выйти на связь под кличкой «Аист».

Кстати, из разговоров с кураторами «Марина» поняла, что КГБ получает информацию и от других внедренных на «Свободу» агентов. Офицеров КГБ почему-то всегда интересовало, как ведет себя Туманов и как борется с пристрастием к спиртному. Марина как-то призналась, что сотрудники радиостанции вели себя достаточно свободно, особенно находясь «под градусом». Крепкий заряд алкоголя мгновенно развязывал их языки, и поэтому во время вечерних пьянок в «кантине» можно было легко получить любую, даже самую закрытую информацию. Особенно «Марине» запомнился пожилой господин, занимавший пост руководителя одной из национальных редакций. Напившись, он терял контроль над собой и выбалтывал самые невероятные вещи, в том числе и секреты. После чего мгновенно засыпал, забыв и о теме разговора, и о собеседниках.

КГБ платил «Марине» ежемесячно, не так уж и щедро: около 800 немецких марок. Однажды она приехала в Вену и, найдя условленное место, стала ждать куратора. Но никто на встречу не пришел. Именно тогда «Марина» поняла, что ее роль на «Свободе» была передана другому агенту. Без лишнего шума она покинула радиостанцию, завершив, таким образом, многолетнюю карьеру на ниве пропаганды и шпионажа. Узнавшие о тайной деятельности «Марины» немецкие власти отказались от судебного преследования экс-агента. Вскоре после этого она покончила жизнь самоубийством…

* * *

Такой была радиостанция «Свобода» времен конфронтации «двух миров, двух систем». Вряд ли большинство рядовых ее сотрудников догадывались, что творится за кулисами этого рупора «свободного мира» и какие шпионские страсти

разгорались в темных уголках здания, столь привлекательного для американских и советских спецслужб. Тем не менее все это было. Что вполне понятно: ведь тогда шла необъявленная война. Холодная война. Но у нее тоже были свои герои и предатели, свои подвиги и жертвы.

[Независимая газета, 28.10.2005[7]]

Тенгиз Гудава
Дело Туманова

Олег Туманов был директором Русской службы радио Свобода и разоблаченным агентом КГБ. Туманов перетянул на радио уголовничка, который в свою очередь перетянул выпускника МГИМО, ставшего сегодня руководителем информационной службы. Последний перетянул свою жену.

Я не сторонник конспиративных теорий, но факты — вещь упрямая. Посудите сами.

Какой режим у нас в Белоруссии всем известно, а какой режим у нас в Белорусской службе Радио Свобода? Недавно два видных диссидента и деятеля белорусского Народного фронта — Сяржук Сокалау-Воюш и Николай Иванов были уволены без какой-либо вразумительной причины директором Белорусской службы, бывшим заведующим идеологическим сектором главной компартийной газеты республики «Звязда». Идеологический работник получил повышение и был назначен директором Афганской редакции!

В Афганистане идет война и там гибнут американские солдаты. А руководит вещанием на фронтовое государство подданный Александра Лукашенко — Александр Лукашук.

В Ираке также идет война и гибнут солдаты Коалиции. Руководит Иракской службой гражданин России, выпускник МГИМО, на араба мало похожий. Туркменской службой Радио Свобода руководит гражданка Украины, дочь одного из крупнейших гебистских чинов республики, возможно причастного к отравлению Виктора Ющенко. Главный администратор Московского бюро Радио Свобода — дочь генерала КГБ.

И вот последнее — демонстративное, показательное как расстрелы 37 года, вопиюще несправедливое и алогичное увольнение диссидентов из Русской редакции Радио Свобода.

Не странная ли закономерность? Не восстает ли в памяти «туманное дело»?

«МГИМО — учебное заведение для детей советской номенклатурной элиты всегда было под усиленным влиянием КГБ

— говорит бывший офицер ГРУ СССР, ныне живущий на Западе, Олег Гордиевский — На постоянной основе тут были представители FCD (разведка), SCD (контрразведка), 12 отделения, осуществляющего прослушивание телефонов и «клопов», 16-го Отдела (ныне FAPSI), вербующего агентов среди переводчиков. Кроме того, тут всегда было мощное присутствие 5-го Управления (идеология) для вербовки среди студентов, как минимум, каждый 5–6 студент «стучал» на других. Кроме того, КГБ, вместе с ЦК КПСС имел «законную квоту» для своих детей. Генералы КГБ всегда были в близких отношениях с ректоратом». Но ведь Радио Свобода не МГИМО! Как же могло получиться, что гебистская инфильтрация этого знакового института американской внешней политики стала кричащей, я бы сказал — плакатной?

Владимир Матусевич, директор Русской службы, уволенный в 1992 году, когда начался это великий «дранг нах Остен» «Свободы», убежден, что дело не только и не столько в КГБ. По мнению Матусевича, ЦРУ решило продать Кремлю радио, полагая, что таким образом американцы внедрятся в Кремль. Кретинизм? Несомненный!

Тогда же в начале 90-х годов стали принимать на Радио откровенных сотрудников российских спецслужб, полагая что создают некое «совместное предприятие». Тогда же внутри Русской службы стала складываться высшая каста — Московское бюро — мало похожее на Радио Свобода. Харизма борцов за права человека и демократию, людей, сама судьба которых являла сплав Запада и Востока, быстренько сменилась скороговорной московской трескотней, делавшей «Свободу» неотличимой от легиона российских станций.

Но до поры до времени «традиционной Свободе» хотя бы разрешали сосуществовать с Московским бюро. Теперь вопрос решен: показательным увольнением сотрудников, которые творили имидж прежней «Свободы» — а именно, имидж воинствующе правозащитной, критической по отношению к авторитаризму радиостанции, свободной Свободы — руководство RFE/RL «сожгло все чему поклонялись» поколения борцов за свободу и подарило Кремлю новую, навеки закавыченную уродицу «Свободу», которую предполагается совместно потреблять на заплеванном FM-овском ширпотребном полу.

Тяжело осознавать себя рождественским гусем, но это так. Однако, дело не в личных судьбах и даже не в тяжелейшем оскорблении, нанесенном мне и моим коллегам. Дело в том, что это путь к уничтожению самого явления — Радио Свобода. Аура внутримосковской фронды и тотального незнания западных,

американских реалий, очень быстро сведет остатки станции в болото пропутинской пропаганды и квакание новых МГИМОшников от пируэтов Михаила Леонтьева уже не отличит никакая разведка. Тонкая ткань радиосмысла, сотканная из страдальческих судеб политэмигрантов, творческих подвигов интеллектуальной элиты, вытесняемой из страны, из удела жить тут, а быть там, и любить родину вопреки ее ненависти к тебе — эта ткань сейчас изорвана в клочья, а взамен предложена дерюга новорусской политпопсы. Слушатель традиционной «Свободы» никогда не приобщится к новой, как старый русский интеллигент не превратится в Нового Русского. А нового слушателя «Свобода» не приобретет, потому что нечем. Кому нужны безымянные ничтожества? И Радио умрет.

«КГБ всегда ненавидел радио «Свобода» — говорит Олег Гордиевский — в 5-ом Управлении всегда была специальная секция, занимающаяся дискредитацией радио и инфильтрацией в нее агентов. Я думаю, отношение ФСБ такое же, может быть даже более серьезное, они ведь могут легко воздействовать на Московское бюро».

Время для удара по «Свободе» выбрано гениальное: на днях старейшая американская правозащитная организация Freedom House понизила рейтинг России, переместив ее из числа «частично свободных» стран в «несвободные». Как заявила исполнительный директор Freedom House Дженнифер Уиндзор (Jennifer Windsor), вхождение России в число «несвободных» стран является «кульминацией политики Владимира Путина по концентрации в своих руках политической власти, преследованию и запугиванию средств массовой информации и политизации правоохранительной системы страны».

«Упустив (или умышленно отбросив?) из документа «Радио Свобода; Рекомендации и план проведения в жизнь» все, что характеризует Россию сегодня, его автор делает щедрый подарок тем силам в России, которые планомерно разрушают (уже почти разрушили) возможность ее демократического развития — пишет вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннэр в статье «Прощай, Свобода!», — Именно они хотят, чтобы не было «зарубежного вещания», чтобы Свобода вещала не из Праги, а из Москвы, и неизбежно под давлением Москвы превратилась в подобие радио «Россия». Именно им уже несколько десятилетий мечталось удалить из свободного эфира разного рода «заморских русских» и «беженцев», «интеллектуалов и диссидентов», которые якобы «не любят России». Олег Туманов давно разоблачен и покинул мир сей. Но дело его живет и побеждает. Как дело Ильича. Так долой Год Обезьяны! Да здравствует Новый Год!

Тенгиз Гудава 26 декабря 2004 года

III
Я НАПИСАЛ ТВОЕ ИМЯ, ЛЕТИЦИЯ

Серж Гэнзбур

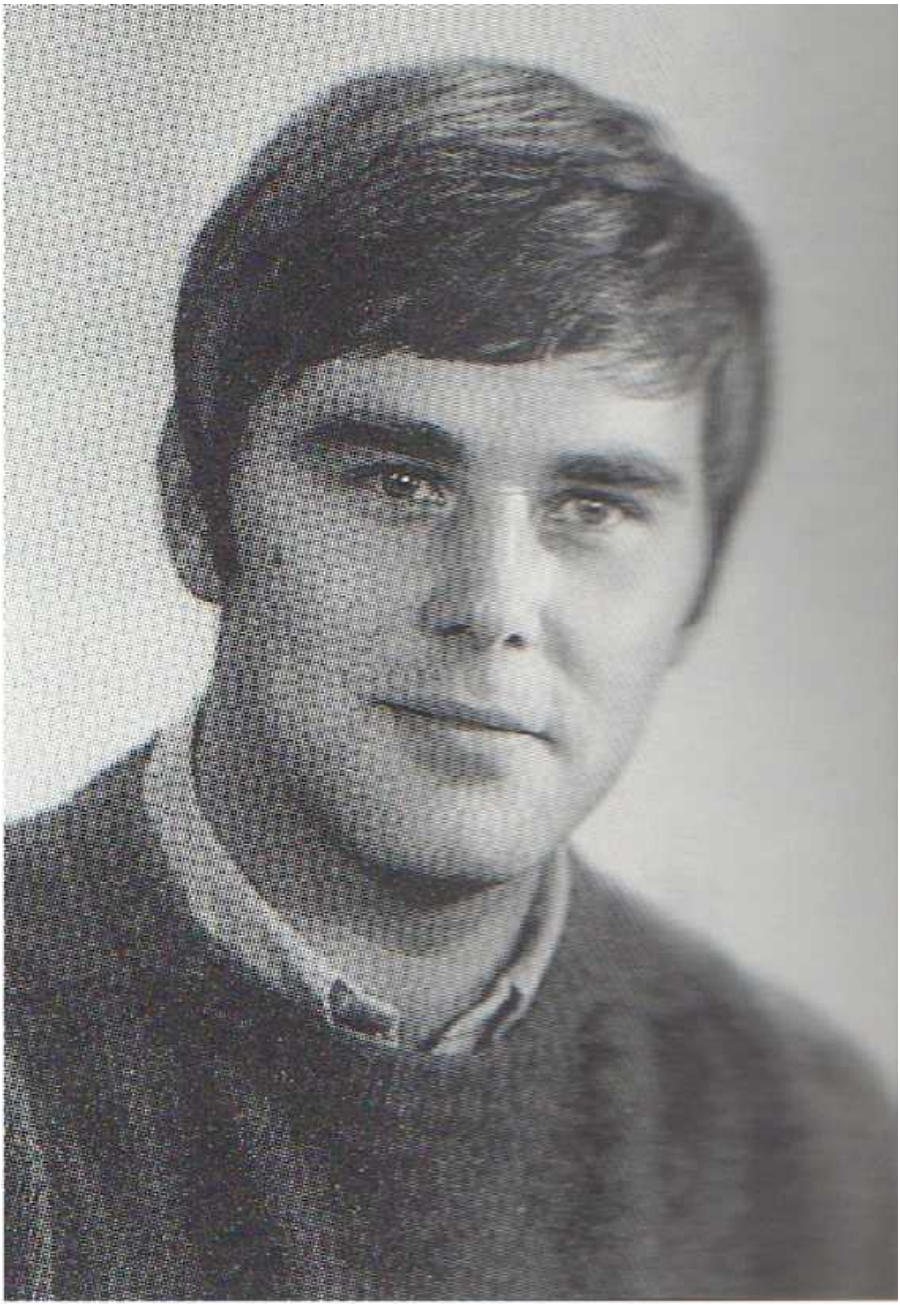
Элетэ Ицэийа

На моем портативном ремингтоне
Я написал твое имя Летиция
Элетэ Ицэийа
Летиция дни которые последовали
Увы! не похожи на те, что прошли
Это моя боль, которую я культивирую
Выстукивая эти семь букв
Элетэ Ицэийа
Это очень болезненный цветок
Я касаюсь его кончиками пальцев
Элетэ Ицэийа
Если придется уйти в полный разнос
Я хотел бы уйти туда вместо тебя
Элетэ Ицэийа
Мой разум окончательно
Потерялся в этих семи буквах
Элетэ Ицэийа
На моем портативном ремингтоне
Я написал твое имя Летиция
Элетэ Ицэийа
Элетэ Ицэийа

ФОТОАЛЬБОМ

Лето 1964-го.

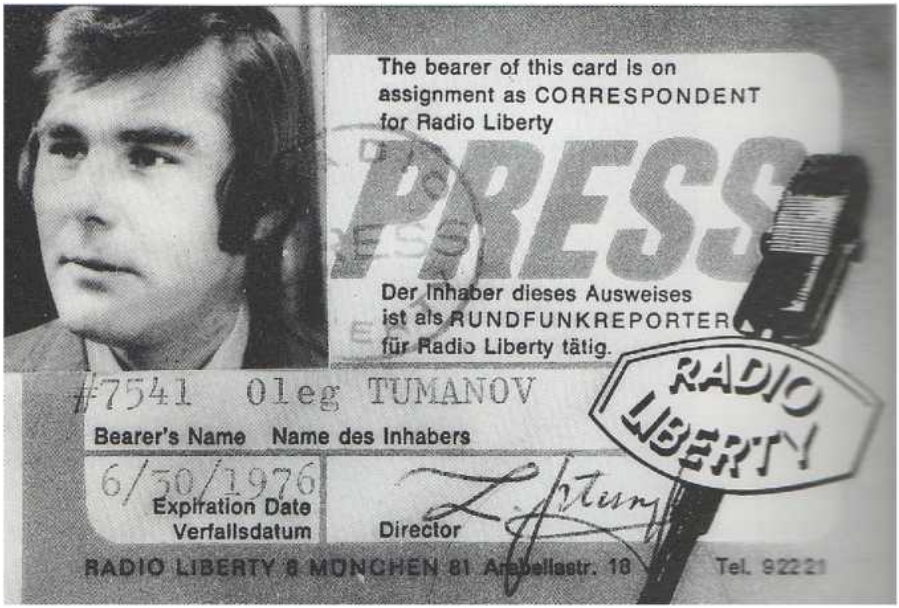
Борт советского эсминца «Справедливый»



Мюнхен. 1967

Мюнхен. Радио Свобода. Август 1968

(Фото из архива автора. — S.I.)

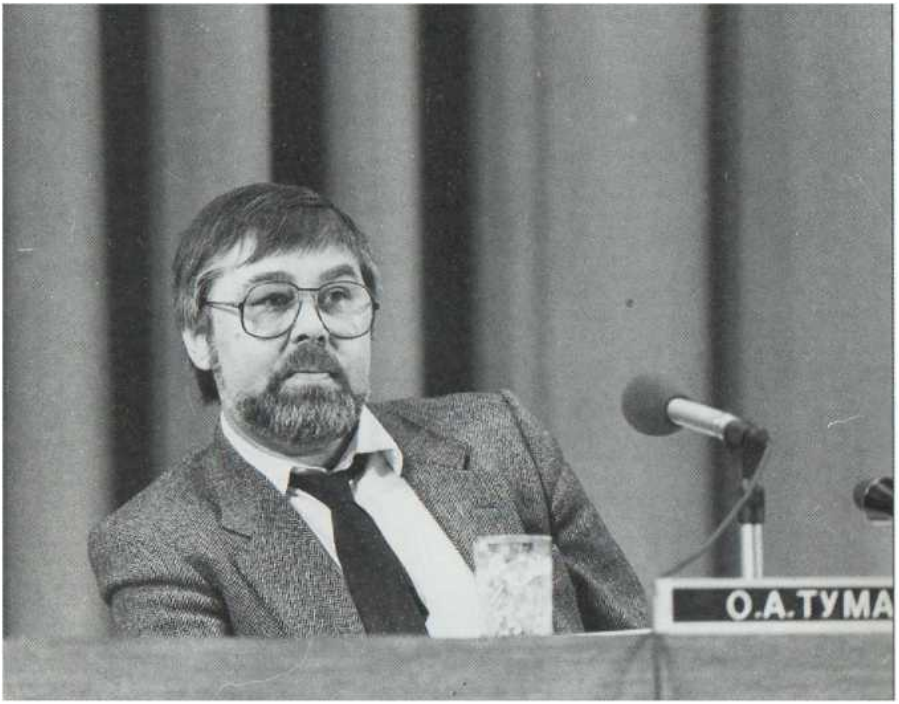


Пресс-карта «Свободы». 1971

В отпуск на Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания. Ноябрь 1973.

В пакете секретные документы, которые вскоре будут на площади Дзержинского.

С супругой. Мюнхен. 1979



Пресс-конференция в Москве. 28 апреля 1986

В работе над книгой. Москва. 1992

Лубянка без Дзержинского. 1993

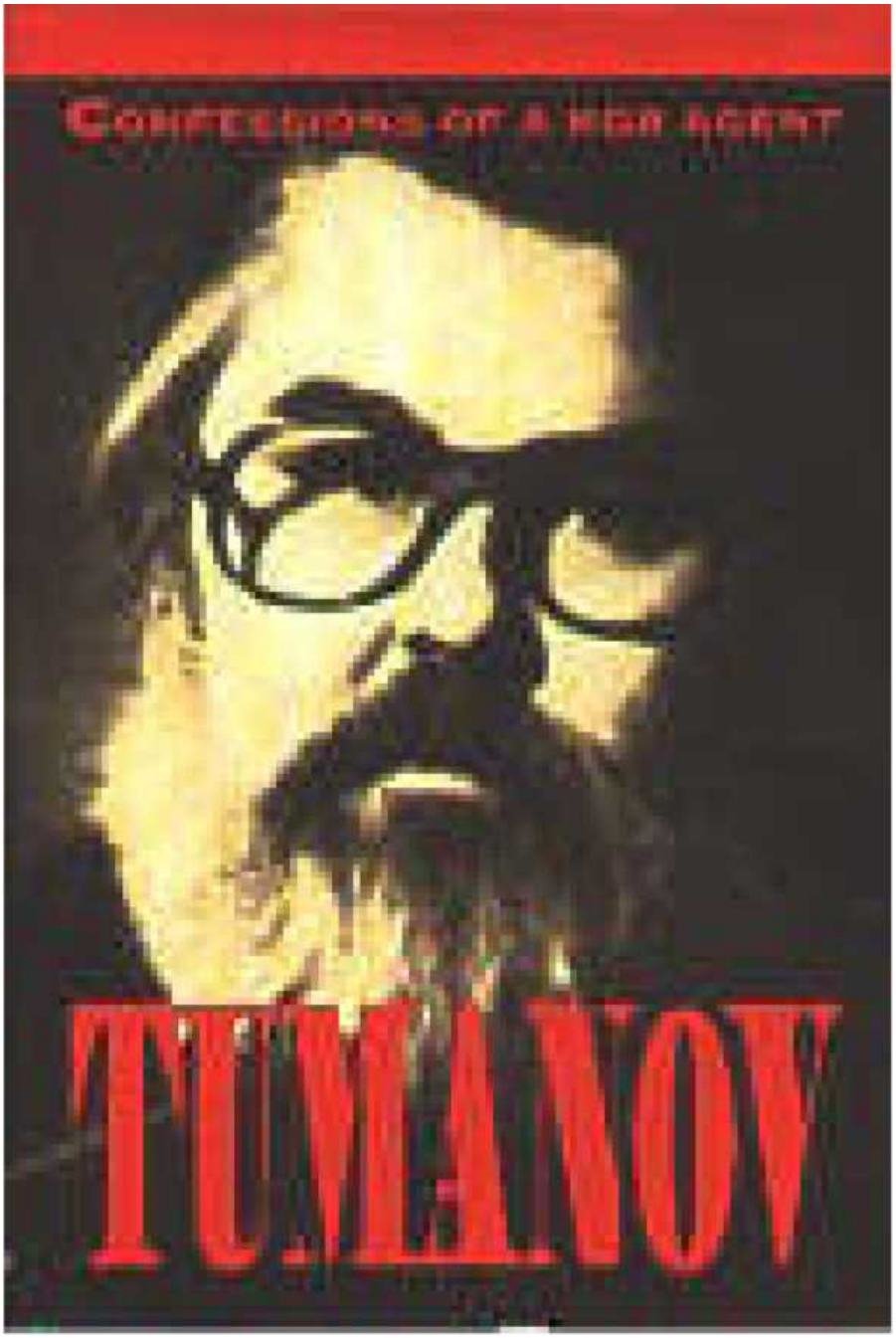
TUMANOV

Confessions of a KGB Agent

Oleg Tumanov

Translated by David Floyd

edition q, inc
Chicago, Berlin, Tokyo, and Moscow



notes

1

Tumanov: Confessions of a KGB Agent. Translated by David Floyd.

Edition q, inc Chicago, Berlin, Tokyo, and Moscow, 1993, pp. 187.

[Эта загадочная книга, изданная по-английски и по-немецки, в обоих вариантах переведена с рукописи, которая остается неопубликованной по-русски (за исключением трех обдуманно выбранных фрагментов, возникших на сайте Agentura.ru за подписью *Кирилл Оживар,* — возможно, автор литературной записи) — *С.Ю.]*

2

На моем портативном «ремингтоне» я написал твое имя, Летиция. — Серж Гэнзбур (франц.)

З

Бывшая любовь *(англ.)*

4

Спасайся, кто может (франц.)

5

Должностная инструкция (англ).

6

О. Д. Калугин, Прощай, Лубянка. (XX век глазами очевидцев). — Москва: ПИК — Олимп, 1995. - 352 С.

7

То же самое под названием Под сенью американской «Свободы». Шпионские страсти вокруг известной радиостанции — это не миф опубликовано с незначительными изменениями на пять лет раньше в Белорусской Деловой Газете (№ 735 от 17.03. 2000), специально для которой материал был предназначен автором.